

M 821.

690978

Локва

2

1957

Корней Чуковский

Андрей Тихонов

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Андрей Тихонов был гостеприимен, как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти. Стоило ему поселиться в деревне, и он тотчас же приглашал к себе кучу гостей. Многим это могло показаться безумием: человек только что выбился из многолетней нужды, ему придется таким тяжким трудом содержать всю семью — и мать, и брата, и сестру, и отца, — у него нет ни гроша на завтрашний день, а он весь свой дом, сверху донизу, набивает гостями, и кормит их, и развлекает, и лечит!

Снял дачу в украинском захолустье, еще не видел ее, еще не знает, какая она, а уже сзывает туда всяких людей из Москвы, из Петербурга, из Нижнего.

А когда он поселился в подмосковной усадьбе, его дом стал похож на гостиницу. «Спали на диванах и по нескольку человек во всех комнатах, — вспоминает его брат Михаил, — ночевали даже в сенях. Писатели, девицы — почтительницы таланта, земские деятели, местные врачи, какие-то дальние родственники, — званные и

незванные толпились у него неделями.

Но ему было и этого мало:

«Ждем Иваненко. Приедет Суворин, буду приглашать Барановича. Конечно, Суворин приедет», — сообщал он Нате Линтваревой из Мелихова в девяностом втором году.

А заодно приглашал и ее. При чем из следующих его писем оказывалось, что, кроме этих четырех человек, он пригласил к себе и Лазарева-Грузинского, и Ежова, и Лейкина, и что у него уже гостит Левитан!

Девять человек, — но и это не все: в доме постоянно ютились такие, которых даже не считали гостями: «астрономка» Ольга Кундсова, музыкант Мариан Семашко, Лика Мизинова, Мусина-Пушкина (она же — Дришка, она же — Цикада), какая-то Лесова из Торжка, какая-то Клара Мамуна, друзья его семьи, завсегдатаи и великое множество случайных безымянных людей.

От этого многолюдства он, конечно, нередко страдал. «С пятницы Страстной до сегодня у меня

гости, гости, гости... и я не написал ни одной строки». Но даже это не могло укротить его безудержной страсти к гостям. В том же письме, где помещена эта жалоба, он зовет к себе какую-то К., в следующем — Владимира Тихонова, в следующем — Лейкина, а из следующего мы узнаем, что у него гостят и Суворин, и Щепкина-Куперник, и таганрогская Селиванова-Краузе!

Звал он к себе всегда весело, бравурно, игриво, затейливо, словно отражая в самом стиле своих приглашений атмосферу молодого веселья, которая окружала его.

«Ну-с, сударь, — писал он, например, редактору «Севера», — за то, что Вы поместили мой портрет и тем способствовали к прославлению имени моего, дарю Вам пять пучков редиски из собственного парника. Вы должны приехать ко мне (из Петербурга! за шестьсот верст! — К. Ч.) и съесть эту редиску».

И вот как приглашал он архитектора Шехтеля:

«Если не приедете, то желаю Вам, чтобы у Вас на улице публично развязались тесемки (кальсон. — К. Ч.)».

Таково же его приглашение водевилисту Билибину:

«Вы вот что сделайте: женитесь и валяйте с женой ко мне... на дачу, недельки на две... Обещаю, что Вы освежитесь и великолепно поглубеете...»

Дело здесь не в радушии Чехова, а в той огромной жизненной энергии, которая сказывалась в этом радушии.

Зазывая к себе друзей и знакомых, он самыми горячими красками, как бы пародируя рекламу курорта, расписывал те наслаждения, которые их ожидают:

«Место здоровое, веселое, сытое, многолюдное... Теплее и красивее Крыма в сто раз... Коляска покойная, лошади очень сносные, дорога дивная, люди прекрасные во всех отношениях... Купанье грандиозное...»

Приглашал он к себе очень настойчиво, не допуская и мысли,

что приглашаемый может не приехать к нему. «Я обязательно на аркане притащу Вас к себе», — писал он беллетристу Щеглову. Большинство его приглашений были и вправду арканами, такая чувствовалась в них настойчиво-неотразимая воля:

«Не ненавижу Вас за то, что Ваш успех мешает Вам приехать ко мне», — писал он одному из приятелей.

И другому:

«Если не приедете, то поступите так гнусно, что никаких мук ада не хватит, чтобы наказать Вас».

И в третьем письме спрашивал Лliku Мизинову:

«Какие муки мы должны будем придумать для Вас, если Вы к нам не приедете?»

И угрожал ей дьявольскими пытками, кипятком и раскаленным железом.

Эта чрезмерная энергия его приглашений и просьб часто трагилась им почти без разбору. Всякого он звал к себе так, словно тот был до смерти нужен ему, хотя бы это был утомительно-шумный, разбитной Гиляровский или мелко-травчатый, вечно уязвленный Ежов.

Напрасно мы перебираем в уме имена старых и новых писателей, — ни одного мы не можем припомнить, наделенного таким размахистым и щедрым радушием. Казалось бы, оно гораздо более пристало писателям-барам, владельцам помещичьих гнезд, чем этому внуку крестьянина, сыну убогого лавочника, но ни одна столбовая усадьба и за десять лет не видала под своими древними липами такого нашествия разнообразных гостей, какое было повседневным явлением в «ошарпанном и оборванном» Мелихове.

II

Страстная любовь к многолюдству сохранилась у Чехова до конца его дней.

Уже в последней стадии чахотки, когда, «полуразрушенный, полужилец могилы», он приехал на

короткое время в Москву, к нему на квартиру стало стекаться так много народу, что с утра до ночи у него не было минуты свободной. «У него непременно в течение дня кто-нибудь бывал», — вспоминает Вл. Ив. Немирович-Данченко и тут же отмечает невероятную странность: «Это его почти не утомляло, во всяком случае он охотно мирился со своим утомлением».

Если даже тогда, когда туберкулез окончательно подточил его силы, он «почти не утомлялся» от этой нескончаемой вереницы гостей, которые, сменяя друг друга, каждый день с утра до вечера приходили к нему со своими документами, то что же сказать о его юных годах, когда он с жадностью нестерпимого голода набрасывался на новых и новых людей, обнаруживая при этом такую общительность, какой, кажется, не бывало ни у одного человека.

Необыкновенно скорый на знакомства и дружбы, он в первые же годы своей жизни в Москве переизнакомился буквально со всею Москвою, со всеми слоями московского общества, а заодно изучил и Бабкино, и Чикино, и Воскресенск, и Звенигород, и с гигантским аппетитом глотал все впечатления окружающей жизни.

И поэтому в молодых его письмах мы постоянно читаем:

«Был сейчас на скачках...», «Ел, спал и пил с офицерией...», «Хожу в гости к монахам...», «Уеду на стеклянный завод...», «Буду все лето кружиться по Украине и на манер Ноздрёва ездить по ярмаркам...», «Пил и пел с двумя оперными басами...», «Бываю в камере мирового судьи...», «Был в поганом трактире, где видел, как в битком набитой бильярдной два жулика отлично играли в бильярд...», «Был шафером у одного доктора...», «Богемский ухаживает слегка за Ядёнкой, бывает у Людмилочки... Левитан закружился в вихре, Ольга жалеет, что не вышла за Матвея, и т. д. Нелли приехала и голодает. У баронессы родилось дитё...»

Без этой его феноменальной

общительности, без этой постоянной охоты являться с любым человеком, петь с певцами и пьянствовать с пьяницами, без этого жгучего его интереса к биографиям, нравам, разговорам, профессиям сотен и тысяч людей он, конечно, никогда не создал бы той грандиозной энциклопедии русского быта 80-х и 90-х годов, которая называется мелкими рассказами Чехова.

Если бы из всех этих мелких рассказов, из многотомного собрания его сочинений вдруг каким-нибудь чудом на московскую улицу хлынули все люди, изображенные там, все эти полицейские, акушерки, актеры, портные, арестанты, повара, богомолки, педагоги, проститутки, помещики, архиереи, циркачи (или как они тогда назывались: циркисты), чиновники всех рангов и ведомств, крестьяне северных и южных губерний, генералы, банщики, инженеры, конокрады, монастырские служки, купцы, певчие, солдаты, свахи, фортепьянные настройщики, пожарные, судебные следователи, дьяконы, профессора, пастухи, адвокаты — произошла бы ужасная свалка, ибо столь густого многолюдства не могла бы вместить и самая широкая площадь. Другие книги — например, Гончарова — рядом с чеховскими кажутся буквально пустынями, — так мало обитателей приходится в них на каждую сотню страниц.

Не верится, что все эти толпы людей, кишачие в чеховских книгах, созданы одним человеком, что только два глаза, а не тысяча глаз с такою нечеловеческой зоркостью подсмотрели, запомнили и запечатали навек все это множество жестов, походок, улыбок, физиономий, одежд и что не тысяча сердец, а всего лишь одно — вместило в себе боли и радости этой громады людей.

И как весело ему было с людьми! С теми, кого он любил. А полюбиться ему было нетрудно, так как, хотя он был человек беспощадно насмешливый и каждого,

казалось бы, видел насквозь, он при первом знакомстве с людьми почти всегда относился к ним с полной доверчивостью, и так неистощима была его душевная щедрость, что многих людей он был готов наделять богатствами своей собственной личности. И потому в его письмах мы так часто читаем:

«Славный малый», — «душа-человек», — «великолепный парень», — «симпатичный малый и прекрасный талант», — «милый человечина, теплый», — «семья великолепная, теплая, и я к ней сильно привязался», — «чудное, в высшей степени доброе и кроткое создание», — «она так же хороша, как и ее братья, которые положительно очаровали меня», — «человечина хороший и не без таланта», — «такая симпатичная женщина, каких мало» и т. д.

Казалось бы, что такое хозяева дачи, которую ты в качестве дачника снимаешь у них на короткие летние месяцы? Проходит лето, ты возвращаешься в город и забываешь о них навсегда. Но стоило Чехову снять дачу на юге у неведомых ему Линтваревых, и он сразу уверовал, что все они — а их было шестеро — очень милые люди, и на многие годы включил всю семью в круг своих близких друзей или, по его выражению, «зажег неугасимую лампаду» перед этой семьей.

И то же — с семьей Киселевых, у которых он еще раньше, три лета подряд, снимал подмосковную дачу. Он сдружился не только с ними, но с их детьми, с их гостями, с их родственниками.

И так же дружески сходил к нему почти со всеми редакторами, у которых ему случалось печататься, даже с Вуколом Лавровым и Саблиным, не говоря уже об Алексее Суворине.

И до такой степени он был артельный, хоровой человек, что даже писать он мечтал не в одиночку, а вместе с другими, и готов был приглашать к себе в соавторы самых неподходящих людей.

«Слушайте, Короленко. Будем вместе работать. Напишем драму. В четырех действиях. В две недели».

Хотя Короленко никогда никаких драм не писал и к театру не имел никаких отношений.

И Билибину:

«Давайте вместе напишем водевиль в 2-х действиях! Придумайте 1-е действие, а я — 2-е... Гонорар пополам».

И Суворину:

«Давайте напишем трагедию «Олоферн» на мотив оперы «Юдифь», где заставим Юдифь влюбиться в Олоферна... Сюжетов много. Можно «Соломона» написать, можно взять Наполеона III и Евгению или Наполеона I на Эльбе».

И ему же через несколько лет:

«Давайте напишем два-три рассказа... Вы — начало, а я — конец».

И даже с Гольцевым, профессором-юристом, совершенно непригодным для изящной словесности, он не прочь засесть за писание драмы, «которую, пожалуй, и написали бы, коли тебе хочется. Мне хочется. Подумай-ка».

Это желание великого мастера дружески сотрудничать с любыми, даже самыми малыми, авторами было у него непритворно, так как при первой возможности он охотно принимался за такое сотрудничество.

Щепкина-Куперник вспоминает:

«Как-то Антон Павлович затеял писать со мной одноактную пьесу и написал для нее длинный первый монолог».

А когда А. С. Суворин принял было предложение Чехова и согласился на совместное писание драмы, Чехов со своей обычной энергией, что называется, засуча рукава, тотчас же взялся за это дело и детально разработал в длиннейшем письме все десять характеров будущей пьесы, и не его вина, если вскоре это дело распалось.

И путешествовать любил он в компании. В Иран он собирался

вместе с сыном Суворина, в Африку — с Максимом Ковалевским, на Волгу — с Потапенко, в донецкие степи — с Плещеевым.

«Насчет поездки в Бабкино на масляной неделе вся моя шайка разбойников решила так: ехать!» — писал он Алексею Киселеву.

«Я часто думаю: не собраться ли нам большой компанией и не поехать ли за границу? Это было бы и дешево и весело», — писал он Линтваревой в 1894 году.

Работать с людьми и скитаться с людьми, — но больше всего он любил веселиться с людьми, озорничать, хохотать вместе с ними. «Ездили мы на четверике, в дедовской, очень удобной коляске, — пишет он Плещееву из Сум в конце восьмидесятых годов. — Смею, приключений, недоразумений, остановок, встреч по дороге было многое множество... Ах, если бы Вы были с нами и видели нашего сердитого ямщика Романа, на которого нельзя было глядеть без смеха... Ели мы и пили каждые полчаса... смеялись до колик... После самой сердечной, радостной встречи поднялся общий беспричинный хохот, и этот хохот повторялся потом аккуратно каждый вечер».

Хохот был совсем не беспричинный, потому что его причиной был Чехов.

Этого молодого, бессмертно-веселого хохота Чехову было отпущено столько, что, чуть только у него среди его тяжелых трудов выдавался хотя бы час передышки, веселье так и било из него, и невозможно было не хохотать вместе с ним. То, наряжись в бухарский халат, вымажет себе лицо сажей, наденет чалму и разыгрывает из себя бедуина, то загримирует себя прокурором, облачится в шитый золотом великолепный мундир, принадлежащий хозяину дачи, и произносит обвинительную речь против друга своего Левитана, речь, которая, по словам его брата, «всех заставляла умирать от хохота». Чехов обвинял Левитана и в укло-

нении от воинской повинности, и в тайном винокурении, и в содержании тайной кассы ссуд и заранее приглашал на это шутовское судилище другого своего приятеля, архитектора Шехтеля, в качестве гражданского истца.

Сунуть московскому гороховому в руки тяжелый арбуз, обмотанный толстой бумагой, и диковать ему с деловито-озабоченным видом: «Бомба!.. Неси в участок, да смотри: осторожнее», или уверить наивную до святости молодую писательницу, что его голуби с перьями кофейного цвета происходят от помеси голубя с кошкой, живущей в том же дворе, так как шерсть у этой кошки — точно такой же окраски, или нарядить хулиганом жену Михаила и написать ей медицинское свидетельство, что она «больна чревовещанием», — к этой детской проказливости его тянуло всегда.

Разбил себе голову пьяный поэт. Чехов приехал лечить его и прихватил с собою одного молодого писателя. «Кто это с вами?» — «Фельдшер». — «Дать ему за труды?» — «Непременно...» — «Сколько?» — «Копеек тридцать».

И молодому писателю с благодарностью вручили три гривеньника.

В этом чисто детском тяготении ко всяким озорным мистификациям, арлекиндам, переодеваниям, театральным экспромтам Чехов был очень похож на другого великого хохотуна и жизнелюба — на Диккенса.

Приехал Чехов как-то с артистом Свободиным и с компанией других приятелей в маленький городишко Ахтырку. Остановились в гостинице. Свободин, талантливый характерный актер, стал разыгрывать важного графа, заставляя трепетать всю гостиницу, а Чехов взял на себя роль его лакея и создал такой художественно-умный образ балованного графского холуя, что люди, бывшие свидетелями этой игры, и через сорок лет вспоминая о ней, не могли удержаться от смеха.

Или едет он в поезде с матерью, сестрой и виолончелистом Семашко. В вагоне вместе с ними находится популярный московский шпигелевед Стороженко. Так как сестра Чехова была еще недавно курейской, она благоговела перед своим любимым профессором. «Мама», — рассказывает Чехов в письме, — во всю дорогу делала вид, что незнакома со мной и с Семашко... Чтобы наказать такую мелочность, я громко рассказывал о том, как я служил поваром у графини Келлер и какие у меня были добрые господа; прежде чем выпить, я всякий раз кланялся матери и желал ей поскорее найти в Москве хорошее место (прислуга. — К. Ч.). Семашко изображал камердинера».

В эти импровизации Чехов увлекал и других. Когда ему приходила охота представить зубного врача, его брат Михаил надевал женское платье, превращался в смазливую горничную, открывавшую дверь пациентам, а в качестве пациентов выступали пять или шесть человек из обитателей Бабкина. До той поры эти люди, должно быть, и не подозревали в себе артистических склонностей, но Чехов заразил их своим импровизаторским творчеством, и они охотно примкнули к игре. Когда в числе его пациентов бывал его брат Александр, Чехов совал ему в рот огромные щипцы для утлей и начиналась «хирургия», при виде которой — по словам Сергеевко — присутствующие покатывались от смеха. «Но вот венец всего. Наука торжествует. Антон вытаскивает изо рта ревущего благим матом «пациента» огромный больной зуб (пробку) и показывает его публике».

Так и видишь его в это время: высокий, изящный, гибкий, очень подвижной, со светлокариыми веселыми глазами, магнетически влекущий к себе всех.

В играх он не любил быть солистом. Все его затеи всегда носили, так сказать, компанейский характер:

«Мы устраивали себе рулетку... Доход рулетки идет на общее дело — устройство пикников. Я крупье».

«Был у меня костюмированный бал».

«Затеваем на праздниках олимпийские игры в нашем дворе и, между прочим, хотим играть в бабки».

Даже усталых и старых приобщал он к своей неутомимой веселости. Долго не мог опомниться старик Григорович, нечаянно попавший в самый разгар кутерьмы, которую вместе со своими гостями устроил Чехов у себя на московской квартире. В эту молодую кутерьму в конце концов втянулся и он, автор «Антон Горемыки», седой патриарх, а потом вспоминал о ней с комическим ужасом, воздевая руки к небесам:

— Если бы вы только знали, что творилось у Чеховых! Вакханалия, настоящая вакханалия!

И как это часто бывает в счастливых, молодых, сплоченных семьях, в полковых и школьных коллективах, Чехов, разговаривая с близкими, заменял обычные их имена фамильярными кличками. Многие из этих причудливых кличек прилипали к людям на всю жизнь, но он неистово придумывал новые, и нередко данное им прозвище оказывалось гораздо точнее, чем то случайное имя, которое у человека было в паспорте.

Когда, например, Чехов называл графиню Мусину-Пушкину — Дришкой, он как бы исправлял ошибку судьбы, так как эта суматошливая, непутевая женщина была именно Дришка, и сиятельное имя несколько не выражало ее.

Лику Мизинову он звал — Канталупа, брата своего Александра — Детородный чиновник, брата Николая — Мордокривенко, а всего чаще — Косой и Кокоша. Иван Щеголов был у него герцог Альба, или Жан, или милая Жанушка. Сережа Киселев, гимназист, назывался попеременно то Грипп, то Коклюш. Себя самого Чехов величал в своих

письмах то Бокль, то граф Черномордик, то Дон Антонио, то академик Тотб, то Шиллер Шекспирович Гете.

Клички раздавались родным и приятелям, так сказать, на основе взаимности. И, например, его брат Александр в свою очередь называл его Гейним, Стамеска, Тридцать три моментально. Для Щеглова он был Антуан и Потемкин, для Яворской — Адмирал Авелин.

Здесь дело не столько в кличках, сколько в той «вакханалии» веселости, которая их порождает.

III

И в тогдашних писаниях Чехова та же вакханалия веселости. «Из меня водевильные сюжеты прут, как нефть из бакинских недр», — восклицал Антон Павлович в конце восьмидесятых годов.

Изобилие кипящих в нем творческих сил поражало всякого, с кем он в то время встречался. «Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой», — вспоминал Владимир Короленко. — Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья.

«— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? — сказал он Короленко, когда тот только что познакомился с ним.

— Вот.

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшую на глаза вещь — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мной и сказал:

— Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие «Пепельница».

И Короленко показалось, что над пепельницей «начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм», но уже оживотворенные юмором.

Всех изумляла тогда именно эта свобода и легкость, с которой бьющая в нем через край могучая энергия творчества воплощалась в несметное множество бесконечно разнообразных рассказов. С самой ранней юности лет десять-две

надцать подряд Чехов работал, как фабрика, не зная ни минуты простоя, выбрасывая горы продукции, и, хотя среди этой продукции на первых порах было немалое количество брака, в скором времени Чехов, нисколько не снижая своих темпов, стал выпускать, как будто по конвейеру, бесперебойно, один за другим, целые десятки шедевров, написанных с такой виртуозностью, что иному даже крупному таланту, например, Василию Слепцову, понадобилось бы на каждый из них никак не меньше полугода работы. А он создавал их без натуги, чуть не ежедневно, один за другим: и «Орден», и «Хирургию», и «Канитель», и «Лошадиную фамилию», и «Дочь Альбиона», и «Шило в мешке», и «Живую хронологию», и «Аптекаршу», и «Женское счастье», и мириады других, и в каждом из них уже седьмое десятилетие живет его неумолкающий хохот.

«Чехова, тоже приложенье, прочитал две книжки, хохотал как черт, — писал Максиму Горькому какой-то крестьянин. — Матери с женой читал, — то же самое: разливаются, хохочут. Вот — и смешно, а мило!»

Это было лет сорок назад. А на днях тут, в Москве, студентки 1-го курса медвуза, собираясь на ночное дежурство, взяли у меня какой-то чеховский том и всю ночь прохохотали до икоты. «Дежурство кончилось, пора расходиться, а мы все еще читаем и смеемся, как дуры».

Через столько мировых катастроф, через три войны, через три революции прошла эта юмористика Чехова. Сколько царств рушилось вокруг, сколько оттремело знаменитых имен, сколько позабыто прославленных книг, сколько сменилось литературных течений и мод, а эти чеховские однодневки как ни в чем не бывало живут и живут до сих пор, и наши внуки так же хохочут над ними, как хохотали деды и отцы. Конечно, критики долго глядели на эти рассказы с высокомерным презрением. Но то,

что они считали безделками, оказалось нержавеющей сталью. Оказалось, что каждый рассказ есть и в самом деле стальная конструкция, которая так самобытна, изящна, легка и прочна, что даже легионам подражателей, пытавшихся в течение полувека шаблонизировать каждый эпитет, каждую интонацию Чехова, так и не удалось до сих пор нанести этим творениям хоть малейший ущерб.

Уже шестьдесят с чем-то лет заразительный чеховский смех звучит так же счастливо и молодо, как звучал он в Бабкино, на Якиманке, в Сорочинцах, на Садовой-Кудринской, на Луке.

IV

Когда же этот счастливейший из русских великих талантов, заразивший своей бесмертной веселостью не только современников, но и миллионы еще нерожденных потомков, заплакал от гневной тоски, вызванной в нем «проклятой расейской действительностью», — он и здесь обнаружил свою могучую власть над людьми.

Даже молодой Максим Горький, совершенно несклонный в те годы к слезам, и тот поддался этой власти. Вскоре после появления в печати чеховского рассказа «В овраге» Горький сообщил Чехову из Полтавской губернии:

«Читал я мужикам «В овраге». Если бы вы видели, как это хорошо вышло. Заплакали хохлы, и я заплакал с ними».

Это свое соучастие в чеховском плаче Горький отмечал тогда не раз:

«Сколько дивных минут прожил я над вашими книгами, сколько раз плакал над ними», — писал он Чехову еще в первом письме.

И снова — через несколько лет:

«На днях смотрел «Дядю Ваню», смотрел и плакал, как баба, хотя я человек далеко не нервный».

Горький любил «Дядю Ваню», ходил смотреть его несколько раз и после тридцати девятого его

представления сообщил Чехову в письме из Москвы:

«И плакала публика и актеры».

Таково было могущество чеховской скорби: даже профессионалы актеры, после полусотни репетиций, после тридцати девяти представлений, когда пьеса давно уже стала для них ежедневной привычкой, вместе с зрителями не могут удержаться от слез!

И как любили тогдашние люди покоряться этой чеховской тоске! Какой она казалась им прекрасной, облагораживающей, поэтичной, возвышенной! И главное (повторяю) — такая проявилась в ней необыкновенная сила: не было в литературе всего человечества другого такого поэта, который без всякого нагромождения ужасов, при помощи одной только тихой и сдержанной лирики, мог бы исторгать у людей столько слез!

Словом, в грусти он казался так же могуч, как и в радости! И там и здесь, на этих двух полюсах человеческих чувств, у него равно великая власть над сердцами.

Но и в грусти и в радости до последнего вздоха оставалось при нем его художническое восхищение миром, которое, в виде чудесной награды, смолоду дается великим поэтам и не покидает их в самые черные дни.

Сколько мудрейших безуспешно пытались «жизнь полюбить больше, чем смысл ее», — полюбить прежде логики и даже наперекор всякой логике, как упорно тщились они убедить и себя и других, что, «пусть они не верят в порядок вещей, но дороги им клейкие, распускающиеся весной листочки», это оставалось одной декларацией и почти никогда не осуществлялось на деле, потому что все клейкие листочки всех на свете лесов и садов не могли заслонить от них мучительного «порядка вещей». А Чехову не нужно было ни малейших усилий, чтобы в те минуты, когда мучительный порядок вещей переставал хоть на миг тяготить его ум, «нутром и червом» отда-

ваться очарованиям жизни, и оттого-то в его книгах и письмах так много благодарности миру за то, что этот мир существует:

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя...

«Так, знаешь, весело было глядеть в окно на темневшие деревья, на речки...», «То есть душу можно отдать нечистому за удовольствие поглядеть на теплое вечернее небо, на речку и лужицы...», «Роскошь природа! Так бы взял и съел ее!»

И он накидывался на нее, как обжора на лакомство. Она казалась ему восхитительно вкусной. Не осталось в России таких облаков, закатов, тропинок, березок, лунных и безлунных ночей, таких мартовских, августовских, январских пейзажей, которыми не лакомился бы он с ненасытной жадностью, и характерно, что в чеховских письмах гораздо больше говорится о природе, чем, например, в письмах таких общепризнанных поэтов природы, как Тютчев, Майков, Тургенев, Полонский и Фет. Природа для него всегда событие, и, говоря о ней, он, столь богатый словами, чаще всего находил всего лишь один эпитет: изумительная.

«...Днем валит снег, а ночью во всю ивановскую светит луна, роскошная, изумительная луна. Великолепно».

«...В природе происходит нечто изумительное, трогательное, что окупает своей поэзией и новизною все неудобства жизни. Каждый день сюрпризы, один лучше другого. Прилетели скворцы, везде журчит вода, на проталинах уже зеленеет трава».

«Погода здесь изумительная, удивительная. Такая прелесть, что и выразить не могу...»

Как возлюбленная для влюбленного, природа была для него каждую минуту нова и чудесна, и все его письма, где он говорит о природе, есть в сущности любовные письма.

«...Погода чудесная. Все поет, цветет, блещет красотой. Сад уж

совсем зеленый, даже дубы распустились... Каждый день рождаются миллиарды существ».

Огромна во всех его письмах эта интенсивность восхищения природой:

«...Природа удивительная до бешенства и до отчаяния... Подлец я за то, что не умею рисовать...»

«...Погода изумительная. Цветут розы и астры, летят журавли, кричат перелетные щелы и дрозды. Один восторг».

«Две трети дороги пришлось ехать лесом, под луной, и самочувствие у меня было удивительное, какого давно уже не было, точно я возвращался со свидания».

«Да, в деревне теперь хорошо. Не только хорошо, но даже изумительно».

И как темпераментно гневался он на природу, когда она оказывалась не такой изумительной, как этого хотелось ему:

«Погода сволочная... Дорога прескучнейшая, можно околотить от тоски... Небо глупо, как пробка».

Вообще связь его с природой была так неразрывна, что он в своих письмах либо проклинал ее, либо радовался ей до восторга, но никогда не чувствовал равнодушия к ней.

Равнодушие вообще было чуждо ему, иначе он не был бы великим художником, и когда однажды, в начале девяностых годов, на короткое время нашла на него полоса равнодушия, даже не равнодушия, а житейской усталости, он почувствовал к себе самому отвращение, словно он болен постыдной болезнью. Так омерзительно было ему равнодушие. Ибо его главное, основное, всегдашнее чувство — жадный аппетит к бытию, любопытство к осязаемому, конкретному миру, ко всем его делам и явлениям. С полным правом он мог бы сказать о себе то, что говорит у него один из самых грустных его персонажей:

«Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все доступ-

ное человеку. Мне хотелось и горючить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать. Меня тянуло и на Невский, и в поле, и в море — всюду, куда хватало мое воображение».

Это не беллетристика, а подлинное чеховское чувство, присутствующее ему во все времена. «И в самом деле мне теперь так сильно хочется всякой всячины, — писал он, например, Суворину в 1894 году, — как будто наступили заговоры. Так бы, кажется, все съел: и за границу, и хороший роман... И какая-то сила, точно предчувствие, торопит, чтобы я спешил... Мне хочется жить, и куда-то тянет меня какая-то сила. Надо бы в Испанию и в Африку».

Позднее, в 900 году, уже сковавшийся смертельной болезнью, он говорил молодому писателю:

«Я бы на Вашем месте в Индию укатил, черт знает куда, я бы еще два факультета прошел».

И как горячо возразил он на угрюмую толстовскую притчу «Много ли человеку земли нужно?», где доказывалось, что человеку, хотя он и мечтает о захвате необъятных пространств, нужны только те три аршина, которые будут отведены для его погребения.

«Но ведь три аршина нужны группе, а не человеку. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свои свойства и особенности своего свободного духа...»

Ибо «солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды».

Как издевался он над теми писателями, которые, домоседствуя в четырех стенах, наблюдают жизнь с одного лишь Тучкова моста: лежат себе в меблированной комнате, а в соседнем номере направо какая-то немка жарит на керосинке котлету, а налево — девушки стучат бутылками пива по столу. «И в конце концов писатель начинает смотреть на все с точки

зрения меблированных комнат и пишет уже только о немке, о девушках, о грязных салфетках».

Сам Чехов уже к тридцатилетнему возрасту побывал и во Владивостоке, и на Гонконге, и на Цейлоне, и в Сингапуре, и в Архипелаге, и в Стамбуле, и в Индии и еще не успел отдохнуть после этой поездки, как уже отправился в Вену, в Венецию, в Рим, в Неаполь, в Монте-Карло, в Париж.

«Ахнуть не успел, как уже невидимая сила опять влечет меня в таинственную даль».

Стоило ему просидеть хоть полгода на месте, и письма его наполнялись мечтами о новой дороге.

«Душа моя просится вширь и ввысь...»

«Мне ужасно, ужасно хочется парохода и вообще воли».

«Кажется, что если я в этом году не понюхаю палубы, то возненавижу свою усадьбу».

И при этом тысячи планов: «У меня был Лев Львович Толстой, и мы сговорились ехать вместе в Америку».

«Все жду Ковалевского, поедем вместе в Африку».

«Поехал бы и на Принцесы острова, и в Константинополь, и опять в Индию, и на Сахалин».

«Я бы с удовольствием двинул теперь к Северному полюсу, куда-нибудь на Новую Землю».

Со свойственной ему энергичной экспрессией описывал он те наслаждения, которые дает ему скитальчество:

«Проплыл я по Амуру больше тысячи верст, видел миллионы пейзажей... Право, столько видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно».

V

Но его отношения к природе отнюдь не ограничивались пассивным созерцанием ее «богатств» и «роскошей». Ему было мало художнически любоваться пейзажем, он и в пейзаж вносил свою неуклонную волю к созидательному преобразованию жизни.

Никогда не мог он допустить, чтобы почва вокруг него оставалась бесплодной, и с такой страстью трудился над озеленением земли, что, глядя на него, было невозможно не вспомнить тех пылких лесоводов и садовников, которых он изобразил в своих книгах. Создавая в «Дяде Ване» образ фанатика древонасаждения Астрова, Чехов в сущности писал автопортрет.

Этот образ лесовода-романтика, поэтически влюбленного в деревья, был так дорог Чехову, что на протяжении нескольких лет он обращался к этому образу трижды.

Сначала — в письме к Суворину, где лесовод появляется в качестве «пейзажиста» Коровина, который в детстве посадил у себя во дворе небольшую березку. «Когда она позеленела и стала качаться от ветра, шелестеть и бросать маленькую тень, душа Коровина наполнилась гордостью: он помог богу создать новую березу, он сделал так, что на земле стало одним деревом больше!»

Потом Коровин преобразается в помещика Михаила Хрущева, который так любит леса и хлопочет о спасении каждого дерева, что соседи зовут его Лешим. Этого защитника и друга лесов Чехов даже поставил в центре всей пьесы, которая так и была названа «Леший».

Потом в «Дяде Ване» Хрущов преобразается в доктора Астрова, который говорит вслед за Лешим: «Когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что... если через тысячу лет человек будет счастливым, то в этом немножко виноват буду и я».

Все это Чехов мог бы сказать о себе, потому что в деле озеленения земли, как и во всем остальном, был неутомимо активен. Еще гимназистом он насадил у себя в Таганроге небольшой виноградник, под сенью которого любил отдыхать. А когда поселился в разоренном и обглоданном Мелихове, он посадил там около тысячи вишне-

вых деревьев и засеял голые лесные участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и лиственницами — и Мелихово все зазеленело.

А через несколько лет, поселившись в Крыму, на выжженном, пыльном участке, он с таким же увлечением сажает и черешни, и шелковицы, и пальмы, и кипарисы, и сирень, и крыжовник, и вишни, по его признанию, буквально блаженствует «...так хорошо, так тепло и поэтично. Просто один восторг».

И, конечно, не раз он делится своим счастьем с другими: посылает родственникам семена в Таганрог, чтобы и те развели у себя хоть какой-нибудь сад. И дарит свои деревья соседу, чтобы и у соседа был сад.

А когда в своей «Дуэли» он захотел показать, как никчемно было паразитарное существование Лавевского, он раньше всего обвинил его в том, что Лавевский в родном саду «не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки».

Когда же он вздумал изобразить гуманиста, проповедующего озлобленным людям мудрое счастье безграничной любви, он вложил эту проповедь в уста садовода, прошедшего с цветами всю жизнь, так как садовод показался ему наиболее достойным носителем таких светлых идей («Рассказ старшего садовника»).

В нем самом никогда не угасала потребность сеять, сажать, растить. По словам его жены, он не навидел, чтобы в его присутствии срывали или срезали цветы. Настойчиво твердит он в своих письмах, что садоводство — его любимое дело. «Мне кажется, — пишет он Меньшикову в 900 году, — что я, если бы не литература, мог бы быть садовником».

И своей жене через год:

«Дуся моя, если бы я теперь бросил литературу и сделался садовником, то это было бы очень хорошо, это прибавило бы мне лет десять жизни».

И обращается с шутливым вопросом к одному члену таганрогской управы, нельзя ли дать ему место садовника в городском саду Таганрога.

И, словно о важных событиях, сообщает своим друзьям и родным:

«Гиацинты и тюльпаны уже лезут из земли».

«Конопля, ризиниусы, подсолнухи уже тянутся до неба».

«Мои розы цветут изумительно. Розы у меня растут необыкновенные».

А когда расцвела у него в Ялте камелия, он поспешил сообщить об этом жене телеграммой.

В каждом цветке — как и в каждом животном — он чувствовал личность, характер, индивидуальные качества. Это видно из того, что иные породы цветов были ему особенно милы, а к иным питал он враждебные чувства. Не только к людям, но даже к цветам не умел он отнестись равнодушно.

«У Вас шестьсот кустов георгинов, — писал он Лейкину еще в 1884 году. — На что Вам этот холодный, не вдохновляющий цветок? У этого цветка наружность аристократическая, баронская, но содержания никакого. Так хочется сбить тростью его надменную, но скучную головку».

Больше всего были любы ему цветущие вишневые деревья.

Недаром главным героем своей предсмертной поэтической пьесы он сделал вишневый сад — «весь белый», «молодой», «полный счастья».

Когда Чехов сообщил Станиславскому, что пьеса так и будет называться: «Вишневый сад», он, к удивлению Константина Сергеевича, закатился радостным смехом, и Станиславскому стало понятно, что «речь идет о чем-то прекрасном, нежно-любимом».

Еще прекраснее и любимее сад, изображенный Чеховым в «Черном монахе», воплощающий в себе все счастье великого садовода Песочного.

И оба раза, когда Чехову и в пьесе и в повести понадобилось показать катастрофу всей жизни людей, он изображает ее как гибель их любимого сада. Для садовода Песочного гибель сада и смерть — равнозначущи.

VI

И не только к озеленению, оплодотворению земли чувствовал он такую горячую склонность, но ко всякому творческому вмешательству в жизнь.

Натура жизнеутверждающая, динамическая, неистощимо активная, он стремился не только описывать жизнь, но и переделывать, строить ее.

То он хлопочет об устройстве в Москве первого Народного дома с читальней, библиотекой, аудиторией, театром.

То добивается, чтобы тут же, в Москве, была выстроена клиника кожных болезней.

То хлопочет об устройстве в Крыму первой биологической станции.

То собирает книги для всех сахалинских школ и шлет их туда целыми партиями.

То строит недалеко от Москвы одну за другой три школы для крестьянских детей, а заодно и колокольню и пожарный сарай для крестьян. И позже, поселившись в Крыму, строит там четвертую школу.

Вообще всякое строительство увлекает его, так как оно, по его представлению, всегда увеличивает сумму человеческого счастья.

«Помню его детскую радость, — говорит Станиславский, — когда я рассказывал ему однажды о большом строящемся доме у Красных ворот взамен плохонького одноэтажного особняка, который был снесен. Об этом событии Антон Павлович долго после рассказывал с восторгом всем, кто приходил его навещать».

Однажды Горький прочитал ему свою гордую песню о человеке-строителе, жаждущем преобразить всю планету неустанным земле-

дельем и строительством, и были в этой песне такие слова:

Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил, да сады все сажал!
Землю разукрасил бы, как девушку...

Песня эта не могла не понравиться Чехову, так как она вполне выражала его собственную веру в спасительность нашего тысячелетнего садоводства и зодчества.

«Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!» — сказал он тогда же Горькому. И записал в своей книжке: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно».

И мало кому известно, что именно Чехов поставил в Таганроге памятник Петру Первому (на Приморском бульваре). Он вел для этого в Париже переговоры с самим Антокольским, он убедил Антокольского пожертвовать вылепленную им статую городу, он организовал ее отливку и бесплатную доставку через Марсельский порт в Таганрог, он выбрал для нее наилучшее место и заранее радовался такому великолепному украшению города: «Это памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу даже всесветный конкурс и о лучшем даже мечтать нельзя. Около моря это будет и живописно, и величественно, и торжественно, не говоря уж о том, что статуя изображает настоящего Петра и притом Великого, гениального, полного великих дум, сильного».

Часто эта деятельность Чехова требовала от него продолжительной черной работы, и когда он, например, строил школы, он сам ведался с каменщиками, конопатчиками, печниками, землекопами, плотниками, закупал все материалы, вплоть до печных изразцов и заслонок, и лично наблюдал за постройкой. Читая иные его тогдашние письма, можно подумать, что

это письма профессионального инженера-строителя: столько говорится в них о штабелях, о пилястрах, о цементе, об известке, о фундаменте. Постройки эти вышли образцовыми: «печи голландские у каждого учителя большая квартира с камином», ибо в строительстве, как и во всякую другую работу, Чехов считал своим долгом вкладывать все свои силы.

А когда он затеял устроить в родном Таганроге общественную библиотеку таких широких масштабов, какие и не снились в ту пору таким окраинным «заштатным» городам, он не только пожертвовал туда больше двух тысяч томов своих собственных книг, то есть всю свою личную библиотеку, в которой много уникальных изданий с автографами, имеющими музейную ценность, не только составил для этой библиотеки галерею портретов замечательных деятелей наук и искусств, но четырнадцать лет подряд посылал ей тюками и ящиками закупавшим груды книг.

Например, из Ниццы в конце девяностых годов сообщал: «Чтобы положить начало иностранному отделению библиотеки, я купил всех французских классических писателей и на днях послал в Таганрог. Всего 70 авторов, или 319 томов».

Всех французских классиков. Триста девятнадцать томов! И это в трудную пору безденежья.

А его работа в качестве земского врача на холере, когда он один без помощников должен был обслуживать двадцать пять деревень! А помощь голодающим в неурожайные годы! А работа во время всероссийской статистической переписи! А его многолетняя лечебная практика главным образом среди подмосковных крестьян!

По свидетельству его сестры Марии Павловны, которая была у него фельдшерницей, он «принимал у себя в усадьбе ежегодно свыше тысячи больных крестьян совершенно бесплатно, да еще снабжал каждого из них лекарствами».

Здесь я говорю не о его доброте, а опять-таки о его колоссальной энергии, о его страстном стремлении к самому активному вмешательству в жизнь ради того, чтобы люди зажили умнее и счастливее.

Еще в 1888 году, намереваясь приобрести в долг на Хороле какой-то «паршивенький хутор», он писал в Петербург Плещееву:

«Если в самом деле удастся купить, то я настрою на берегу Хорола флигелей и дам начало литературной колонии».

Этой колонии он так и не создал, равно как и ночлежного дома, об устройстве которого столько мечтал, равно как и санатория для больных педагогов — с фруктовым садом, огородом и пчельником, о котором сообщает в своих воспоминаниях Горький, но и сделанного им слишком достаточно. Когда он умер, после него осталось не только двадцать томов всемирно-прославленной прозы, но четыре деревенские школы, да шоссе на Лопасню, да библиотека для целого города, да памятник Петру, да колокольня, да посеянный на пустоши лес, да два замечательных сада.

Всех писем к Чехову сохранилось около семи с чем-то тысяч. Подробный каталог этих писем издан лет двадцать назад Соцэгимом, — и содержание многих из них формулируется такими словами: «Благодарность за полученные от Чехова деньги...», «Благодарность за содействие в получении службы...», «Благодарность за хлопоты о паспорте...» и т. д., и т. д., и т. д.

Иначе и быть не могло. Все отношения к людям сложились у Чехова так, что он брал у них очень мало, а чаще не брал ничего, но давал им без конца и без счета.

И до последнего месяца жизни он за все эти двадцать лет не провел, кажется, ни единого дня без хлопот о чужих делах.

Если бы я захотел перечислить все стихотворения, романы, рассказы и повести Белоусовых, Кругловых, Менделевичей, Гурляндов, Киселевых, Лихачевых, Остров-

ских, Лазаревских, Петровых, которые он пристраивал в разных редакциях, можно было бы подумать, что я пишу не об одном человеке, загруженном по горло работой, а о крупном, хорошо организованном литературном агентстве с целым штатом энергичных сотрудников и с отлично налаженной литконсультацией.

Начинающая беллетристка Шаврова прислала ему не три, не четыре, а девять рассказов — девять рассказов один за другим! Он много возился с каждым, поправлял их, рассылал по редакциям и в конце концов обратился к ней с просьбой:

«Напишите еще двадцать рассказов и пришлите. Я прочту с удовольствием».

И так как «творчество перло из него, как нефть из бакинских недр», он не ограничивался ролью пассивного оценщика рукописи, а сам, с обычной своей страстной энергией, вмешивался в творческий процесс того автора, который обращался к нему за советом, и щедро дарил ему свои собственные краски и образы.

Попался ему в руки чей-то рассказ «Певичка»:

«В «Певичке» я середину сделал началом, начало — серединой и конец приделал совсем новый».

«Вот что: у меня чешутся руки, не позволите ли Вы приделать конец к Зильбергрошу?»

Прислал ему писатель Грузинский свой водевиль «Старый друг». Чехов начал было критиковать эту рукопись, но потом не выдержал и стал сам сочинять за Грузинского. Сохранилось его письмо (от 1 ноября 1889 года), где он, так сказать, отодвигает убогого автора в сторону и сам авторствует вместо него.

Такова была его система работы над рукописями, которые в неслетном количестве присылали и приносили ему всевозможные — главным образом бесталанные — авторы. Так много было в нем творческих сил, которые он тратил на других.

С такой же необыкновенной охотой пристраивал он чужие пьесы в театрах.

В конце восьмидесятых годов, едва только он сошелся с актерами Малого театра и Корша, он стал рассылать своим друзьям драматургам такие — почти циркулярные — письма.

«Если вы летом напишете драму, — говорилось в одном письме, — то не пожелаете ли поставить ее на сцене Малого театра в Москве? Если да, то прошу распоряжаться мною».

И в другом:

«Нет ли у Маслова пьесы? Я бы поставил ее у Корша?»

Он не ждет, чтобы Маслов обратился к нему с просьбой похлопотать перед Коршем о постановке его пьесы в театре. Он даже не знает, написал ли Маслов какую-нибудь пьесу. Но он заранее предугадывает желание Маслова и предлагает ему дружескую помощь, которой тот и не думал просить у него.

И в третьем письме к третьему автору:

«Вы пьесу пишете? Напишите и уполномочьте меня поставить ее в Москве. Я и на репетициях побываю, и гонорар получу и всякие штуки...»

А когда Суворин, написав свою «Репину», в самом деле уполномочил его поставить эту пьесу в Москве, Чехов отдал постановке чужой пьесы едва ли не больше сил и хлопот, чем постановке всех десяти своих собственных. Он преодолел и закулисные дразги и неговорчивость самовлюбленных актеров, — и эта чеховская постановка оказалась несравненно более тщательной, чем та, которой руководил в Петербурге сам автор.

И позднее, через несколько лет, чуть только пьесы Чехова появились во МХАТе, он, верный своему всегдашнему обычаю, стал тащить в этот театр других. Русская драматургия обязана главным образом Чехову тем, что Горький на-

писал для МХАТа «Мещан» и «На дне». «Всех лучших писателей я подбиваю писать пьесы для Художественного театра, — сообщал Чехов жене в 1901 году. — Горький уже написал; Бальмонт, Леонид Андреев, Телешов и др. уже пишут. Было бы уместно назначить мне жалованье, хотя бы по 1 р. с чело века...»

VIII

«Надо помогать всем просящим без исключения и при этом не бояться обмана. Лучше быть обманутым, чем самому обмануться».

Но все это дела литературные. Между тем в Чехове замечательно именно то, что он готов был служить и далеким и близким во всяких житейских повседневных делах.

«Буде пожелаете дать мне какое-нибудь поручение, не церемоньтесь и давайте, я к Вашим услугам», — писал он, например, Линтваревой.

И не ей одной, а десяткам других.

«Если хотите, я съезжу посмотреть имение, которое Вам предлагают».

«Не поручите ли вы мне купить для вас рыболовных снастей?»

И даже у Лейкина спрашивал: «Не будет ли каких поручений?»

«Пройдет время, — вспоминает о нем Сергей Щукин, — забудешь сам, о чем просил, а он вдруг объявляет, что вот, наконец, он сделал, что нужно, и ответ на просьбу вот какой; удивившись, вспомнишь, и только станет стыдно, что заставлял его хлопотать об этом».

Только что выполнив трудное поручение Суворина, он просит не стесняться и дать ему новое:

«Если нужно в ад поехать, — поеду. Пожалуйста, со мной не церемоньтесь».

И даже благодарил тех друзей, которые в трудную минуту прибегают к нему:

«Спасибо... что не поцеремонился и обратился ко мне, — писал он Савельеву в 1884 году. — Не думай, что ты стесняешь меня и проч. ...Пожалуйста, не церемонься и, главное, не стесняйся...»

И они не стеснялись. Никто не стеснялся.

В конце 1903 года, когда ему осталось жить всего несколько месяцев, когда при каждом взгляде на него было ясно, что даже двигаться, даже дышать ему тяжело, он получил поручение от ялтинской жительницы Варвары Харкеевич взять с собой в Москву ее часики и отдать их в починку мастеру. По приезде в Москву он отнес их к часовщику на Кузнецкий, и часовщик две недели испытывал их и, когда Чехов пришел к нему снова, заявил, что они нигде не годятся. И Чехов написал об этом Варваре Харкеевич и тут же, конечно, прибавил, что он охотно попробует продать эти часики и купит ей новые. Она, конечно, согласилась. И он, смертельно больной, снова отправился с ее часиками в часовой магазин и продал их и купил ей другие. И сообщал ей об этой покупке:

«Часы прямо-таки великолепные... Купил я их с ручательством на сто лет, у лучшего часовщика — Буре, торговался долго и основательно».

И несомненно Варвара Харкеевич могла быть довольна, что великий писатель выторговал для нее пять или десять рублей и сбыл ее плохие часы. А то, что ему из-за этих проклятых часов пришлось три или четыре раза ходить на Кузнецкий и вести с нею переписку о них, оба они считали совершенно естественным.

Но, конечно, в большинстве случаев он отдавал свои силы не таким тривиальным делам.

Можно написать целую книгу о том, как работал он в Ялте в Попечительстве о приезжих больных! Вавалил на себя такую нагрузку, что в сущности один-одинешенек аваял в своем лице чуть не все учреждение, все Попечительство о

приезжих больных! Многие чахоточные приезжали тогда в Ялту без гроша в кармане — из Одессы, из Кишинева, из Харькова лишь потому, что им было известно, что в Ялте живет Антон Павлович Чехов: «Чехов устроит, Чехов обеспечит и койкой, и столовой, и лечением!»

И весь день они осаждали его. Он роптал, ему было мучительно трудно, — он и сам в ту пору изнемогал от болезни, — но все же ежедневно устраивал их и, если они были евреи, выхлопывал для них право жительства в Ялте.

И почти не отбивался от тех попрошаек, которые, проведая, что он продал издателю полное собрание своих сочинений, так и налетели на него саранчой. Денег у него и тогда было мало, прохода-издатель надул его бессовестным образом, но все же временно у него оставались какие-то крохи и он раздавал их десяткам людей.

«Денег у меня расходуется ежедневно непостижимо много, непостижимо, — писал он Ольге Леонардовне Книппер в эту пору. — Вчера один выпросил сто рублей, сегодня один приходил прощаться, дал ему десять рублей, одному дано сто рублей, обещано другому сто рублей, обещано третьему пятьдесят рублей, и все это надо уплатить завтра».

Он и сам сердился на себя за свое расточительство, но по возможности никогда никому не отказывал, потому что давать «в долг без отдачи» было давней его специальностью. И делал это до такой степени тайно от всех, что даже близкие люди, например актер Художественного театра Вишневский, считали его «скуповатым»!

«Халата у меня нет, — сообщал он жене. — Прежний свой халат я кому-то подарил, а кому — не помню».

2 июня 1904 года он буквально на смертном одре хлопочет о каком-то студенте, сыне какого-то дьякона, чтобы того перевели из одного университета в другой.

«Сегодня, — пишет он дьяко-

ну, — я уже направил одного господина, который будет иметь разговор с ректором, а завтра поговорю с другим. Возвращусь я в конце июля или в первых числах августа и тогда употреблю все от меня зависящее, чтобы желание Ваше, которому я сочувствую всей душой, исполнилось».

Это, кажется, единственный случай, когда человек, обратившийся к Чехову с просьбой о помощи, не получил того, чего просил, да и то по причине вполне уважительной: ровно через месяц Чехов умер, так и не дожив до тех сроков, которые наметил в письме.

Все остальные просьбы он всегда выполнял, хотя никак невозможно понять, откуда бралось у него для этого время.

Была ли это филантропия? Нисколько. Филантропия баюкает совесть богатых и при помощи мелких или крупных подачек отвлекает голодных от борьбы за уничтожение несправедливого строя.

А Чехов был автором «Острова Сахалина», «Человека в футляре», «Ионыча», «Моей жизни», «Палаты № 6», «Мужиков»; его книги — сплошной обвинительный акт против всей тогдашней бесчеловечной действительности, его деятельная вседневная жалость к отдельным обездоленным людям всегда сочеталась у него с широкой борьбой за счастье угнетаемых масс, и называть его «типичным филантропом» могут лишь те скудоумы, которых Герцен называл тупосердыми.

Эти тупосердые почему-то решили, что то или иное участие (порю весьма отвлеченное) в коллективной борьбе с социальной неправдой совершенно освобождает их от всяких забот о каждом отдельном нуждающемся. Но Чехов никогда не забывал, что любовь к человечеству лишь тогда плодотворна, когда она сочетается с живым участием к судьбам отдельных людей. Жалость к конкретному человеку была его культом. Даже простые люди, никогда не читавшие Чехова, чувствовали в нем

своего «сострадальца». Куприн рассказывает, что когда в Ялте в присутствии Чехова на борту парохода какой-то пришибев ударил по лицу одного из носильщиков, тот закричал на всю пристань:

— Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты вот кого ударил! — И указал на Чехова, потому что даже он понимал, что для Чехова чужая боль — своя.

IX

Восхищаясь этими изумительными отношениями Чехова к людям, я все же хочу подчеркнуть и выставить возможно рельефнее не его нежность и ласковость, которые и без того очевидны, а неистощимость его жизненных сил, сказывающуюся во всех его действиях. Мы только что видели сами:

В литературе он работал, как фабрика.

Людям помогал так неутомимо и деятельно, словно был не человек, а учреждение.

Даже гостей принимал у себя в таком беспримерном количестве, словно у него был не дом, а гостиница.

И его творческое вмешательство в жизнь, эти его школы, сады, библиотеки, постройки, которые отдавал он весь свой случайный досуг, также неопровержимо свидетельствуют об избытке его созидательных сил.

И когда я говорю, что еще в ранние годы он жадными и зоркими своими глазами нахватал столько впечатлений и образов, будто у него была тысяча глаз, это не риторика, а совершенно объективная истина. Если вспомнить, например, каков был диапазон наблюдений у его наиболее одаренных предшественников, мастеров «короткого рассказа», Василия Слепцова и Николая Успенского, — гигантское многообразие тех впечатлений и образов, которые скопил он уже к двадцатипятилетнему возрасту, покажется почти сверхъестественным.

И как юморист он — такой же

гигант. Первый русский юморист после Гоголя, заразивший своим чеховским смехом не только современников, но и миллионы их внуков и правнуков.

Я не говорю уже о том, что эпоха восьмидесятих годов недаром называется чеховской: он — центральная фигура той эпохи. Он высится над ней, как колосс, потому что, хотя он был в вечном разладе с ее реакционными тенденциями, он, даже противоборствуя ей, являлся самым могучим ее выразителем.

И вот спрашивается: почему же никто до конца его дней не заметил, что он — великан? Даже те, что очень любили его, постоянно твердили о нем: «милый Чехов»,

ГЛАВА ВТОРАЯ

«...Закатил я себе нарочно непосильную задачу».

«...Дрессирую себя по возможности».

Из писем Антона Чехова.

С кем протекли его боренья?

С самим собой, с самим собой.

Борис Пастернак.

I

Был в России строгий и придирчивый критик, который с упрямой враждебностью относился к гениальному творчеству Чехова и в течение многих лет третирует его как плохого писателя.

Даже теперь, через полвека, обидно читать его злые и дерзкие отзывы о произведениях великого мастера. «Рухлядь», «дребедень», «ерундишка», «жеваная мочалка», «канифоль с уксусом», «увесистая белиберда», «не творчество, а дерьмо» — таковы были обычные его приговоры чуть ли не каждому новому произведению Чехова.

Чеховская пьеса «Иванов» еще не появлялась в печати, а уж он назвал ее «Болвановым», «выкидышем», «поганой пьесенкой». Даже изумительная «Степь», этот — после Гоголя — единственный в мировой литературе лирический гимн бескрайным просторам России, и та названа у него «пустячком», а о ранних шедеврах Чехова, о таких,

«симпатичный Чехов», «изящный Чехов», «изысканный Чехов», «трогательный Чехов», «обаятельный Чехов», словно речь шла не о человеке громадных масштабов, а о миниатюрной фигурке, которая привлекательна именно своею грациозностью, малостью.

Почему при его жизни и до настоящего времени даже любящим казалось, что слова «огромный», «могучий» совершенно не вяжутся с ним? И главное: почему он сам, наперекор очевидности, так упорно отвергал эти слова?

Здесь перед нами встает одна из выразительнейших черт его личности, глубоко национальная наша черта, которой, пожалуй, не встретишь ни у какого иного народа.

как «Злоумышленник», «Ночь перед судом», «Скорая помощь», «Произведение искусства», которые нынче вошли в литературный обиход всего мира, объявлено тем же презрительным тоном, что это рассказы «плохие и пошлые»... О «Трагике поневоле»: «паршивенькая пьеска, старая и плоская шутка». О «Предложении»: «пресловуто-глупая пьеса»...

Замечательнее всего то, что этим жестоким и придирчивым критиком, так сердито браковавшим чуть ли не каждое творение Чехова, был он сам, Антон Павлович Чехов. Это он называл чеховские пьесы пьесенками, а чеховские рассказы — дребеденью и рухлядью.

До нас дошло около четырех с половиною тысяч его писем к его родственникам, друзьям и знакомым, и характерно, что ни в одном из них он не называет своего творчества — творчеством. Ему как будто совестно применять к своей литературной работе такое пышное

и величавое слово. Когда одна писательница назвала его гордым мастером, он поспешил отшутиться от этого высокого звания:

«Почему вы называли меня гордым мастером? Горды только индюки».

Не считая себя вправе называть свое вдохновенное писательство творчеством, он во всех своих письмах — особенно в первое десятилетие литературной работы — говорит о нем в таком нарочито пренебрежительном тоне:

«Я нацарапал... паршивенький водевильчик... пошловатенький и скучноватенький...» «Постараюсь нацарапать какую-нибудь кислятинку»... «Ваше письмо застало меня за царапаньем плохонького рассказа»... «Накатал я повесть»... «Кое-как смерекал два рассказа»... «Гуляючи, отмахал комедию»...

«Отмахал», «смерекал», «накатал», «нацарапал» — иначе он и не говорил о могучих и сложных процессах своего литературного творчества — шло ли дело о «Скучной истории», или о «Дуэли», или о «Ваньке», входящем ныне во все хрестоматии, или об «Именинах», написанных с истинно толстовскою силою.

Впоследствии он отошел от такого жаргона, но по-прежнему столь же сурово отзывался о лучших своих сочинениях.

«Пьесу я кончил. Называется она так: «Чайка». Вышло не ахти. Вообще говоря, я драматург неважный».

«Скучища, — писал он о своем рассказе «Огни», — и так много философмудрия, что приторно... Перечитываю написанное и чувствую сиюминутное от тошноты: противно!»

И хотя к концу восьмидесятих годов он из всех писателей своего поколения выдвинулся на первое место, он продолжал утверждать в своих письмах, что в тогдашней русской беллетристике он, — если применять к нему табель о рангах, — на тридцать седьмом месте, а вообще в русском искусстве — на девяносто восьмом. Но, должно

быть, и в этой цифре почудилось ему самохвальство, потому что вскоре, в письме к своему тагарогскому родственнику он заменил ее еще более скромной. Речь зашла о композиторе Чайковском. «В Питере и в Москве он составляет теперь знаменитость номер два, — пишет Чехов. — Номером первым считается Лев Толстой, а я — номер восемьсот семьдесят седьмой».

Было похоже, что он с юности дал себе строгий зарок никогда ни перед кем не похвалиться величием своего литературного подвига и никогда ни перед кем не обнаруживать, как торжественно, сурово и требовательно относится он к своему дарованию. Один из самых глубоких писателей, он то и дело твердит о своем легкомыслии. «Из всех ныне благополучно пишущих Россия — самый легкомысленный и несерьезный», — говорит он в 1887 году в письме к Владимиру Короленко уже после того, как им были написаны такие проникновенные произведения, как «Счастливый Дом», «Верочка», «Недоброе дело» и многозначительный рассказ «На пути», в котором тот же Короленко нашел удивительно верное понимание самой сущности скитавшихся по свету «русских искателей лучшего».

Верный своей системе скрывать от других все громадное, тяжелое, важное, что связано с его литературной работой, он ни за что не хотел допустить, чтобы посторонние знали, что эта работа требует у него такого большого труда. Трудился он всегда сверх человеческого сил, но очень редко, да и то самым близким людям говорил о том, как трудно ему бывает писать.

«Написал я повесть... возился с нею дни и ночи, пролил много пота, чуть не поглупел от напряжения... От писания заболел локоть и мерещилось в глазах черт знает что». Таких признаний у него было мало, зато всем направо и налево он твердил о своей якобы сверхъестественной лени: «Ленюсь гениально»... «Лень изумительная... Из

всех беллетристов я самый ленивый... В моих жилах течет ленивая хохлацкая кровь»... «Ленюсь я по-прежнему... Провожу дни свои в праздности... Я хохол, я ленив. Леню приятно опьяняет меня, как эфир»... «Хохлацкая лень берет верх над всеми моими чувствами...»

Не желая, чтобы посторонние догадывались об огромности его «непосильной» работы, он всегда изображал в своих письмах редкие мгновения отдыха как обычное свое состояние.

Когда в 1888 году он получил от Академии наук за свою книгу «В сумерках» премию имени Пушкина, он написал в одном тогдашнем письме:

«Это, должно быть, за то, что я раков ловил».

Конечно, многое объясняется здесь его беспримерною скрытностью, нежеланием вводить посторонних в свою душевную жизнь. «Около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее», — признался он в наиболее откровенном письме. У него издавна вошло в привычку таить от большинства окружающих все, что относится к его творческой личности, к его писательским исканиям и замыслам, и он предпочитал отшутиться, лишь бы не вводить посторонних в свой внутренний мир. Так что небрежный, иронический тон в отзовах о собственных писаниях порою служил ему для самозащиты от чужого вмешательства в его душевную жизнь.

Но чаще всего здесь проявлялось то «святое недовольство» собою, которое свойственно, кажется, одним только русским талантам.

Это недовольство собою выразилось в нем с наибольшею силою в 1887—1889 годах, когда он впервые ощутил свою славу.

II

Слава его была для него неожиданностью. Еще недавно он терялся в вульгарной толпе

третьеразрядных писак малой прессы, всевозможных Попудогло, Библиных, Лазаревых, «Эмилий Пупов», Кичеевых и других литературных пигмеев. Но в Петербурге к тому времени уже появились сначала одиночки, а потом целые фаланги знатоков и ценителей, которые стали все громче восхищаться его дарованием и, когда он приехал наконец в Петербург, они, к его удивлению, встретили его такими восторгами, что даже у него, как он признавался впоследствии, «месяца два кружилась голова от хвалебного чада».

«На днях я вернулся из Питера. Купался там в славе и нюхал фимиамы».

«В Петербурге я самый модный писатель», — сообщал он в письмах своим родственникам.

Эти фимиамы сулили ему прочное будущее и раньше всего полное освобождение от изнурительной бедности, которая с детства угнетала его. Еще со студенческих лет ему пришлось содержать и сестру, и брата, и мать, и отца, и теперь он мог впервые свободно вздохнуть после целого десятилетия подневольной поденщины.

Кроме того, эта внезапная слава ввела его в избранный круг самых выдающихся русских людей, о котором не могли и мечтать его соратники по «Сверчкам» и «Будильникам». Уже не какой-нибудь Кичеев, не Лазарев, а Григорович, Владимир Короленко, Терпигорев, Сергей Максимов, Лесков, Яков Полонский, Плещеев, гениальный Чайковский приняли его в свою среду как собрата.

Плещеев писал ему о его повести «Степь», только что прочтя ее в рукописи:

«Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать вам не могу и никаких замечаний не могу сделать, кроме того, что я в безумном восторге... Я давно ничего не читал с таким огромным наслаждением... Гаршин от нее без ума... Боборыкин от вас в безумном восторге, считает вас самым даровитым из всех ныне су-

пешествующих беллетристов».

«Искреннейший ваш почитатель», — подписался в письме к нему Петр Чайковский.

«Антону Павловичу Чехову поклонник его таланта», — с такой надписью подарил ему свою книгу Полонский.

И, как нарочно, именно в это счастливое время дарование Чехова необычайно расцветает и ширится. Вслед за драмой «Иванов», имевшей на александринской сцене такой громкий успех, так как она сконцентрировала в себе жгучие темы тогдашней эпохи, вслед за рассказом «Припадок», дававшим углубленную трактовку мучительной гаршинской теме о нашей личной вине перед жертвами общественного строя, он напечатал «Скучную историю», о которой даже враждебный ему Михайловский, обнаруживший полную неспособность понять его творчество, тогда же высказал в критической статье, что это «лучшее и значительнейшее» из всего, что до той поры было написано Чеховым.

И тогда же, в этот самый период, вышло первое издание его книги «В сумерках». «Мне сказывали, что книжка ваша будет блистательной», — сообщал ему Плещеев из Питера, — что не успевают наготовить экземпляров».

Все это были такие удачи, что его друзья и завистники стали называть его Потемкиным. «Счастья баловень безродный», — повторял он сам о себе.

В 1889 году в столице с большой помпой открылась выставка картин Семирадского, и среди них особенно шумный успех имела одна, изображавшая обнаженную красавицу Фрину, на которую с восторгом взирал толпа.

«В Питере теперь два героя дня», — писал Чехов, — нагая Фрина Семирадского и одетый я».

Но чем пламеннее превозносили его почитатели (один даже называл его слоном среди всех беллетристов), тем беспощаднее был он к себе и ко всему своему — столь высоко ценимому — творчеству.

Подводя в конце 1889 года итоги своим литературным успехам за этот счастливейший период своей писательской жизни, он говорил в откровенном письме, что у него за спиной «многое-многообразие ошибок и несообразностей, пуды исписанной бумаги, академическая премия, житие Потемкина — и при всем том нет ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение». Мне страстно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым, серьезным трудом. Мне надо учиться, учить все с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда».

И в другом письме еще более сурово:

«Сам я от своей работы, благодаря ее мизерности... удовлетворения не чувствую... никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или пустяками?.. Чувство мое мне говорит, что я занимаюсь вздором».

И вот выдержки из других его писем, где говорится о том же:

«Нет, не то мы пишем, что нужно!»

«Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для чего и для чего я пишу? Для публики?.. Нужен я этой публике, или не нужен, понять я не могу...»

«Мне до тошноты надоело читать Чехова».

«Мне не нравится, что я имею успех... обидно, что чепуха уже сделана, а хорошее валяется в складе, как книжный хлам».

Таким образом, во время самых своих блестящих литературных удач этот «баловень счастья» высказывает мучительное недовольство не тем или другим своим произведением, а всей своей литературной работой, всей ее идейной направленностью. Только что завоевав себе первую славу, хочет спрятаться от нее, уйти в тишину, в неизвестность, чтобы там, поработав лет пять над каким-нибудь черным трудом, совершить, наконец, что-нибудь насущно необходимое людям, потому что, как выразился

он в тот же период, «современная беллетристика совсем не нужна». И пояснил в другом месте: она, даже в лице лучших своих представителей, «помогает дьяволу размножать слизняков и мокриц».

Беллетристика, единственное дело, которому до того времени отдавал он всю душу, — художественное изображение современной ему русской действительности оказывалось в его глазах делом «несерьезным», «ненужным» и «вздорным».

И он решил с этим «вздором» покончить.

«Потягивает меня к работе, но только не к литературной, которая приелась мне».

Этот отказ от служения искусству, это отречение художника от своего мастерства свойственны, кажется, одним только русским — и притом великим — талантам. Нигде в других странах, кажется, никогда не случалось, чтобы люди таких титанических сил, как Гоголь и Лев Толстой, в самом апогее своей славы вдруг начинали презирать то великое, что создано ими, и, считая, что их искусство — никому не нужное дело, принуждали себя к отходу от искусства во имя более плодотворного служения людям.

Теперь то же самое — но, к счастью, ненадолго — случилось и с Чеховым. Только у Гоголя и у Толстого их отказ от творчества был демонстративным и громким, прозвучал на всю Россию, на весь мир, а Чехов, привыкший по своей чеховской скрытности не показывать никому своих чувств, отошел от беллетристики молча, без декларации и проповедей, так что этого не заметили даже биографы Чехова.

Но, может быть, в его горьких высказываниях о ненужности его беллетристики отразилось, как это часто бывает, минутное скоропостижное разочарование художника в действительной силе своего мастерства?

Нет, это было чувство глубокое, длительное. Иначе оно не толкну-

ло бы Чехова на один, как тогда говорили, «безумный поступок» — или, как мы скажем теперь, самоотверженный подвиг. Подвиг безрассудный, напрасный, но — подвиг. Я говорю о его тогдашней поездке на остров Сахалин для изучения быта сосланных туда каторжан.

III

Обычно авторы всяких сочинений о Чехове повторяют один за другим, что им не совсем понятно, почему ни с того ни с сего Чехов в 1890 году пустился в этот опасный и утомительный путь.

«Я до сих пор, — утверждает Ежов, — не понимаю поездки Чехова на Сахалин. Зачем он туда ездил? За сюжетами, может быть? Не знаю».

«Причины, вызвавшие Чехова на осуществление исключительно трудной поездки, — пишет Сергей Балухатый, — остаются до настоящего времени недостаточно выясненными».

А между тем стоит только вспомнить то страстное недовольство собою, которое в ту пору с особенной силой охватило писателя, недовольство своим искусством, своими успехами, и его поступок станет вполне объясним. Именно потому, что все это дело было так трудно, утомительно, опасно, именно потому, что оно уводило его прочь от благодушной карьеры преуспевающего и модного автора, он и взвалил на себя это дело.

Как сообщила впоследствии его сестра Мария Павловна, «тогда ходили слухи о тяжком положении ссыльно-каторжан на о. Сахалине. Возмущались, роптали, но тем и ограничивались, и никто не принимал никаких мер... Антон Павлович не мог сидеть спокойно, когда знал, что в ссылке мучаются люди. Он решил ехать туда».

Человек, никогда не щадивший себя, он и нынче не дал себе ни малейшей поправки. Другие писатели, чуть только они добивались известности и выкарабкивались из

тяжелой нужды, уезжали туристами куда-нибудь в Париж или в Рим, а Чехов вместо этого сослал себя на каторжный остров. За границей в ту пору он еще никогда не бывал, и его очень тянуло туда. В конце восьмидесятых годов — то есть незадолго до сахалинской поездки — он строил десятки планов об увеселительной экскурсии в Европу:

«Пожил бы до июня на Луке, потом в Париж к французенкам».

«Дураки все мы, что не едем в Париж на выставку. Этак помрешь и ничего не увидишь...»

«Поехал бы на Кавказ или в Париж».

«Приеду в Питер продавать с аукциона свой роман. Продам и уеду в Пиренеи».

«С каким удовольствием я поехал бы теперь куда-нибудь в Биарриц, где играет музыка и где много женщин».

Мог бы отдохнуть где-нибудь у Средиземного моря, а он принудил себя, больного, отправиться в самое гиблое место, какое только было в России. И при этом пояснял кратко: «Надо себя дрессировать!»

«Поездка, — говорил он в письме, — это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже ленинаться. Надо себя дрессировать».

К своей сахалинской поездке он начал готовиться задолго, проштудировал целую библиотеку ученых томов, а также всевозможных газет и журналов, имеющих хотя бы отдаленное отношение к тому Чертову острову, который он собирался посетить. Он изучил геологию Сахалина, его флору и фауну, его историю, его этнографию и параллельно с этим досконально изучил тюремное устройство, так как хотел вступить в борьбу с русской каторгой и как серьезный, хорошо вооруженный ученый.

Так он осуществил свой разрыв с опостылевшей ему беллетристической. Беллетристика давала ему известность и деньги, но «надо же себя дрессировать», и вот он целые

месяцы просиживает безвыходно дома и читает «о почве, о подпочве, о супесчанистой глине и глинистом супесчаннике».

«Такая кропотливая анафемская работа, что я, кажется, оклею с тоски... В мозгу (от чтения. — К. Ч.) завелись тараканы».

И едва он довел до конца «анафемскую» эту работу, он тотчас же отправился туда, куда обычно людей гнали силой, — через всю Сибирь за тысячи и тысячи верст, поехал не по железной дороге, которой тогда еще не было, а на лошадах, в таратайке — в распутицу — по «единственным в мире» кочкам, колеям и ухабам, нередко ломавшим колеса и оси, выворачивающим из человека всю душу. Его так жестоко трясло всю дорогу, особенно начиная от Томска, что у него разболелись суставы, ключицы, плечи, ребра, позвонки, — его чемоданы то и дело взлетали на каждом ухабе, руки ноги у него коченели от холода, — и есть ему было нечего, так как он, по неопытности, не захватил с собою нужной еды, — и несколько раз только чудо спасало его от смерти: однажды ночью его опрокинуло, и на него налетели две тройки, а в другой раз, идя по сибирской реке, его пароход налетел на подводные камни, — но дело, конечно, не в этих опасностях, а в тех бесчисленных лишениях и муках, которые претерпел он в пути. Больно читать в его письмах, как, пробираясь по весеннему разливу в тележке, он промочил себе валенки и должен был в мокрых валенках поминутно выпрыгивать в холодную воду, чтобы придежать лошадей. «Плыву через реку, а дождь хлещет, ветер дует, багет мокнет, валенки опять обрабатывают в студень», и ко всему этому злая бессонница от невозможности вытнуться в неудобном возке.

И все же он пробирается вперед и вперед, и, конечно, он не был бы Чеховым, если бы после всех этих мук не написал с какой-то стати одному из знакомых:

«Путешествие было вполне бла-

гополучное... Дай бог всякому так задить».

Здесь сказала обычная его неохота говорить посторонним о своих испытаниях и подвигах. Между тем то был воистину подвиг. Чтобы молодой беллетрист в счастливейший период своей биографии сам добровольно отправился по убийственному бездорожью за одиннадцать тысяч верст с единственной целью принести хоть какое-нибудь облегчение бесправным, отверженным людям, хоть немного защитить их от произвола бездушно-полицейской системы, — это был такой героизм, примеров которого немного найдется в истории мировой литературы.

И как застенчив русский герой! Этот подвиг был совершен Чеховым втихомолку, тайком, и Чехов только о том и заботился, чтобы посторонние не сочли его подвига — подвигом.

IV

К сожалению, он достиг своей цели. Существуют целые книги о Чехове, где даже не упоминается этот сахалинский период его биографии.

Чехов отправился на Сахалин не от какой-нибудь организации, не по командировке широко распространенной и богатой газеты, а на свой собственный счет, без всяких рекомендательных писем, в качестве обыкновенного смертного, не имея никаких привилегий. И когда он промок под дождем и, прошагав несколько верст по ужасной дороге по колена в воде, попал вместе с каким-то генералом в избу, генералу предоставили постель, генерал переоделся в сухое белье, а он, Чехов, должен был лечь на пол в промокшей насквозь одежде!

И там, на Сахалине, он взвалил на себя столько работы, что, конечно, из всех тамошних каторжников самым каторжным работником был в эти месяцы Чехов.

Собирая материалы для своей будущей книги, он предпринял чрезвычайно трудное дело: перепись

всего населения этого огромного острова, который вдвое больше Греции. Перепись была бы по силам большому коллективу работников, а он сделал ее один, без помощников, переходя из избы в избу, из одной тюремной камеры в другую.

Мудрено ли, что эта поездка на каторгу вконец расшатала его и без того некрепкое здоровье. К тому же он простудился на обратном пути и стал кашлять гораздо сильнее, чем прежде. Его слишком ранняя смерть несомненно объясняется тем, что в тот самый период, когда он мог еще вылечиться от начавшегося у него туберкулеза, он несколько месяцев кряду провел в таких невыносимо тяжелых условиях, которые и для здорового могли оказаться губительными. Кроме того, эта поездка буквально разорила его, так как он истратил на нее все свои деньги (одним ямщикам пришлось платить вдвое и втрое, да и случайные дорожные спутники обокрали его как могли), и снова ввергла его в долговую нужду. Даже через четыре года после поездки он пишет:

«Я истратил на поездку и на работу столько денег и времени, сколько не получу назад и в десять лет».

Еще позднее, когда он случайно очутился в глуши, в убийственно-изнурительных условиях, у него в письме к Горькому вырвалась запоздалая жалоба:

«О, это ужасно, это похоже на мое путешествие по Сибири!»

Но в то время, когда он вернулся из этого путешествия, кашляющий, с перебоями сердца, он о своем путешествии стал говорить в обычном ироническом тоне. «Да, Сашечка, — писал он своему старшему брату, — объездил я весь свет, и если хочешь знать, что я видел, то прочти басню Крылова «Любопытный». Какие бабочки, букашки, мушки, таракашки!»

Из его бесчисленных друзей и знакомых ни один, буквально ни один, даже отдаленно не понял ни смысла, ни цели его поездки на каторгу. Даже Суворин, в ту пору

ближайший к нему человек, и тот отнесся к ней с фамильярной игривостью и прислал ему в Иркутск телеграмму:

«Не хвались. До Стенли далеко».

А его брат Александр, неугомонный остряк, тотчас же по его возвращении приветствовал его такими словами:

«Кругосветный брат, дошли до меня слухи, что ты, шляясь по свету, растерял и последний умишко и возвратился глупее, чем уехал».

И Буренин откликнулся на его путешествие в таких беззлобных, хотя и фамильярных стихах:

Талантливый писатель Чехов,
На остров Сахалин уехав,
Бродя меж скал,
Там вдохновения искал.
Но не найдя там вдохновения,
Свое ускорил возвращенье.
Простая басня сей мораль:
Для вдохновения не нужно ездить вдаль.

Во всех этих откликах много развязности и ни тени уважения к только что завершённому Чеховым великому патриотическому делу. Дружеское хихиканье по поводу этого дела продолжалось в кругу его близких и после. Отвечая на одно из неизвестных нам писем Суворина, Чехов дважды упоминает о том, что Суворин злорадно смеется над его сахалинскими очерками, над их «солидностью», «ученостью», «сухостью». И Чехов возражает Суворину:

«Печатать «Сахалин» в журнале, конечно, не следует... книжка же, я думаю, пригодится на что-нибудь. Во всяком случае Вы напрасно смеетесь».

Но книжка ни на что не пригодилась.

Никакого общественного резонанса она не вызвала. Вышедшая через несколько лет книга Чехова «Остров Сахалин», стоившая ему таких жертв, прошла в литературе почти незамеченной. Лишь «Книжки недели» кисло-вато промямлили, что Чехов совершенно напрасно тратил свои силы на такие труды, которые доступны и рядовому

работнику прессы. Один только Скабичевский, да и то через четыре года после выхода книги, удосужился заметить ее, да и то в ряду с другими книгами, где трактовалась такая же тема, как будто сама по себе книга Чехова была недостойна отдельной рецензии.

Лишь после смерти Чехова нашелся авторитетный ученый, известный профессор Мих. Членов, который заявил в университетской газете, что «Остров Сахалин» в будущем, «когда у нас откроется столь необходимая нам кафедра этнографически-бытовой медицины, будет, конечно, служить образцом для произведений этого рода».

Но при жизни Чехова университетские медики только пожали плечами, когда кто-то заикнулся о том, чтобы за эту «образцовую книгу» автору дали ученую степень. «Кому? Вчерашнему Антоше Чехонте? Невозможно!»

Конечно, эта книга написана с самыми благородными целями, но все же, нужно прямо сказать, она неизмеримо слабее всех чеховских книг, так как в ней нет самого главного: нет Чехова. На всем ее протяжении он ни разу не дает себе как художнику воли и жестоко подавляет в себе свой могучий изобразительный дар. Невозможно и догадаться о том, что эта книга написана мастером художественной прозы, который в ту пору уже вполне овладел необычайной властью волновать читателя до слез. На каждой странице ждешь, что Чехов сбросит с себя этот облик ученого, что он заговорит, наконец, на своем колдовском языке полнокровных многозначительных образов и что тогда мы не только поймем, но до боли почувствуем весь пронзительный ужас повседневного и внешне благополучного сахалинского быта. Но этого не происходит ни разу. Отсюда горькая неудовлетворенность читателя. Невесело в самом деле следить, как на сотнях страниц Чехов убивает в себе Чехова. Талант его был тогда в полном цвету, и нет сомнения, что он мог бы соз-

дать книгу потрясающей силы, но он, как это бывало в русском искусстве не раз, наступил на горло своей собственной песне и тем обескровил ее. Значительную роль здесь сыграла цензура: если бы Чехов написал эту книгу по-чеховски, как он, например, впоследствии написал «Мужиков», книга не могла бы появиться в печати, но все же главная беда была в том, что отказ от искусства отвечал его тогдашней душевной потребности.

Незадолго до этого он, как мы только что видели, мучительно пережил недовольство собою и всей своей «ненужной» беллетристической и высказывал упорное желание спрятаться куда-нибудь подальше от этого «вздора», чтобы «занять себя кропотливым, серьезным трудом». Вот он и спрятался — сначала в сибирскую глушь и на каторжный остров, а потом — в незаметную публицистически-научную книгу, которая отняла у него около года кропотливой работы, растянувшейся с перерывами на несколько лет.

Но, конечно, главная чеховская тема сказалась и здесь — о вопиющей бессмысленности и ненужности мук, которыми одни люди поодиночке и скопом почему-то терзают других людей. С неотразимой наглядностью он подробно, неторопливо, методично и тщательно, с цифрами и фактами в руках, показывает, какая неумная чепуха — вся эта царская каторга, это бездарное издевательство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью, и характерно, что тогдашние публицисты и критики не только не пожелали подхватить его тему хотя бы в тех пределах, которые были доступны им по цензурным условиям, но, вопреки очевидности, продолжали твердить, что Чехов — беспринципный, безыдейный писатель, равнодушный к интересам и нуждам русской общественной жизни.

Критики упрямо не хотели заметить, что Чехов и здесь, как в других своих книгах, — борец за народное счастье. Еще собираясь

на Сахалин, он писал: «Не дальше, как 25—30 лет назад, наши русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека», и нужно ли доказывать, что к числу этих русских принадлежал и он сам. Ни Михайловский, ни его подголоски, обвинявшие Чехова в постыдном равнодушии к социальным вопросам, не принесли своей родине и тысячной доли тех жертв, которые принес ей Антон Павлович этой одной своей сахалинской поездкой.

Самое писание этой книги было для Чехова тяжким трудом. Писалась она долго, с перерывами. Ее сухой, небеллетристический стиль был ему явно в тягость.

Когда, наконец, книга была им написана, он сразу же и в разговорах и в письмах перестал вспоминать о своей сахалинской поездке. Слово ее никогда не бывало. Во всех трех томах его переписки с женой «Остров Сахалин» упоминается только однажды, да и то внешним образом — просто как заглавие книги. «Не видно было, чтобы он любил вспоминать об этом путешествии, — сообщает Потапенко. — По крайней мере я, проводивший с ним немало дней, ни разу не слышал от него ни одного рассказа из того мира».

Даже в тех редких случаях, когда он бывал вынужден излагать для печати свою биографию, поездка на Сахалин занимала в ней самое незаметное место, и о трудностях этой поездки не упоминалось ни словом. Здесь — обычное нежелание Чехова выставлять свои заслуги напоказ...

V

Вообще из всех людей, когда-либо встречавшихся с Чеховым, не было, кажется, ни одного, кто, вспоминая о нем, не отметил бы этой его глубоко народной черты: лютой ненависти к самовозвеличению и чванству. Нельзя было поверить, что тот, перед кем благоговеет вся страна,

может до такой степени не ощущать своей славы.

Впрочем, мало сказать, что он не ощущал своей славы. Он боролся с ней, он вычеркивал ее из своей биографии, он готов был драться за то, чтобы отвоевать себе право быть самым обыкновенным, безвестным.

Он словно задачу перед собою поставил: ступеваться, не выпячивать ни перед кем своего «я», не угнетать никого своими заслугами. «Когда обо мне пишут, это меня неприятно волнует».

Не извлекать из своего дарования никаких привилегий, чтобы оно не вставало преградой между ним и другими людьми. Никогда ни при каких обстоятельствах не разрешать себе ни зазнайства, ни чванства.

«Читать о себе какие-либо подробности, а тем паче писать для печати — для меня это истинное мучение», — признавался он тысячу раз.

Когда в девяностых годах редакция газеты «Неделя» попросила его сообщить ей несколько автобиографических данных, он так и заявил в своем письме к редактору:

«Для меня это нож острый. Не могу писать о себе самом».

И сильно рассердился, когда «Всемирная иллюстрация» (петербургский журнал) назвала его в одном из своих анонсов «высоко-талантливым». Чехов в письме к редактору запротестовал против такого эпитета и тут же высказал свое убеждение, что лучшая реклама для писателя — скромность.

Когда печаталось полное собрание его сочинений, он как об особой услуге просил издателя не печатать при этом собрании ни его портрета, ни его биографии. И настоял на своем. Его биографии в этом издании нет, хотя давняя традиция требовала, чтобы на первых страницах первого тома полного собрания сочинений непременно была биография автора.

«В Париже хотел лепить меня известный скульптор Бернштам, и

я не дался», — сообщает он в 1899 году Иорданову.

И в 1901-м жене;

«С. А. Толстая сняла Толстого и меня на одной карточке. Я прошу у нее и пришлю тебе, а ты никому не давай переснимать, бо же сохрани».

Переберите все фото, где он вместе с другими людьми. Почти всегда, за двумя или тремя исключениями, он в тени, сзади всех, за спиной у других или в лучшем случае сбоку. Сидеть в центре какой-нибудь группы, в качестве первой фигуры, было ему нестерпимо. Всю жизнь он свято выполнял то суровое правило, которое еще юношей предписал своему слабому брату, наставляя не только его, но и самого себя:

«Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки».

По воспоминаниям Вл. Ив. Немировича-Данченко, он «терпеть не мог разговоров о своих произведениях»:

«Давайте о другом. Тоже наши предмет!».

Терпеть не мог похвал его таланту».

Это видно и по его переписке с писателями, в которой он так много говорит им о их сочинениях и почти ничего — о своих.

Вообще было бы неплохо, если бы молодые писатели, подробно изучив биографию Чехова, сделали ее образцом своего поведения, потому что эта биография есть раньше всего учебник писательской скромности.

В январе 1900 года Академия наук избрала его своим почетным членом. То была высшая почесть, доступная тогдашнему писателю. Но этой почести он словно не заметил. Лишь однажды подписался под шутливым домашним письмом: «Академик Тотó», да чуть было не вписал свое высокое звание в паспорт жене:

«Хотел я сначала сделать тебя женою почетного академика, но потом решил, что быть женою лекаря куда приятнее».

И написал: «жена лекаря». Лекарь — это было самое неприметное, заурядное звание, потому что он и не хотел променять его ни на какое иное.

«Новый человек, не знавший раньше писателя, едва ли выделил бы его из ряда собеседников», — свидетельствовал священник С. Шукин. «В какой-нибудь компании его было трудно отличить от других», — вспоминал о нем в некрологе Суворин, которому Чехов жаловался еще в восьмидесятих годах:

«Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей... А это жутко...»

Вряд ли был на свете другой знаменитый писатель, который тратил так много усилий, чтобы всегда оставаться незаметным в толпе, в рядах «обыкновенных людей». Он ни разу не выступал на эстраде или хотя бы в самом тесном кругу с чтением своих произведений. И в театре на всех спектаклях занимал места главным образом в задних рядах.

Одно лишь условие поставил он той библиотеке, которой жертвовал тысячи книг:

«Пожалуйста, никому не говорите о моем участии в библиотечных делах».

А когда библиотека попросила его, чтобы он прислал ей свою фотографию, он пообещал ей прислать фотографию Альфонса Додэ.

Всем памятен рассказ Станиславского, как на репетиции своего «Вишневого сада» Чехов, несмотря на просьбы актеров, отказался занять подобающее ему место за режиссерским столом, а спрятался в зрительном зале, в задних рядах, в потемках, так что тот, кто разглядывал бы его там, не поверил бы, что это автор пьесы.

И как разгневался он, когда какой-то журнал, печатая перечень своих ближайших сотрудников, тиснул его фамилию более крупным шрифтом.

До последних дней его преследовало недовольство собою, то самое, что в молодости заставляло

его называть свои пьесы пьесенками, а свои рассказы — дребеденью и вздором.

Он был уже общепризнанным классиком, писал «Архиерея» и «Невесту», но даже с близкими не говорил о своих писательских работах и замыслах. «Дуся моя, — писал он жене, — мне до такой степени надоело все это, что кажется, что и тебе и всем это уже надоело и что ты только из деликатности говоришь об этом...»

«Я тебе ничего не сообщаю про свои рассказы, которые пишу, потому что ничего нет ни нового, ни интересного. Напишешь, прочтешь и видишь, что это уже было, что это уже старо, старо».

И вечная его забота всегда и везде: как бы не обидеть другого своею славою, своим превосходством. Был у него знакомый писатель Владимир Алексеевич Тихонов, человек не лишенный способностей, но Чехов и он — это Эльбрус и пригорок, и вот в каком тоне Чехов зовет его погостить:

«Драгоценный Владимир Алексеевич. Я не приглашаю Вас к себе в деревню, так как это бесполезно. Вы гордец и надменны и высокомерны, как Навуходоносор. Если бы вас пригласил принц Кобургский или хедив Египетский, то Вы поехали бы, приглашение же от незначительного русского литератора вызывает у вас презрительную улыбку. Жаль. Гордость мешает вам ехать ко мне, а между тем, какая у меня сметана, какие агнцы, какие огурцы будут в мае, какая редиска!»

Чтобы как-нибудь не обидеть «незначительного русского литератора» высокомерным отношением к нему, Чехов называет незначительным себя самого и вообще держится с Тихоновым до такой степени на равной ноге, словно и сам он — не Чехов, а Тихонов.

У него была манера: говоря с каким-нибудь третьестепенным писателем, употреблять выражение: «мы с вами», чтобы тот, не дай бог, не подумал, будто Чехов считает себя выше его. «Когда Суво-

рин видит плохую пьесу, — писал он тому же Тихонову, — то он ненавидит автора, а мы с Вами только раздражаемся и ноим; из сего я заключаю, что Суворин годится в судьи и в гонимые, а нас (меня, Вас, Щеглова и проч.) природа сработала так, что мы годимся быть только подсудимыми и зайцами».

И вскоре после того, как Вагнер назвал его слоном среди беллетристов, Чехов написал Тихонову такое письмо:

«Я, вопреки Вагнеру, верю в то, что каждый из нас в отдельности не будет ни «слоном» среди нас и ни каким-либо другим зверем, и что мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а «восьмидесятые годы» или «конец XIX века»: некоторым образом артель».

Эта чрезмерная деликатность не раз побуждала его просить у людей прощения даже за то, в чем и не могло быть обиды.

«Как-то в Париже за обедом, — писал он одному из своих богатых приятелей, — Вы уговаривали меня остаться в Париже, предложили мне взаймы денег, я отказался, и мне показалось, что этот мой отказ огорчил и рассердил Вас, и мне показалось, что, когда мы расставались, от Вас веяло холодом. Быть может, я и ошибаюсь. Но если я прав, то уверяю Вас, голубчик, честным словом, что я отказался не потому, что мне не хотелось одолжаться у Вас...» и т. д., и т. д., и т. д.

Чехов был, кажется, единственным человеком, когда-либо просивший у друзей извинения за то, что не берет у них денег!

И когда в апреле 1894 года он вдруг у себя в усадьбе почувствовал, что падает в обморок, ему пришла мысль, которая при таких обстоятельствах, кажется, не приходила еще никому:

«Как-то неловко падать и умирать при чужих».

Даже умереть он хотел деликатно, чтобы не причинить другим никакого конфуза.

VI

Но едва ли кто-нибудь из восхвалителей чеховской нежности, деликатности, скромности подметил и осознал до конца, что часто здесь наряду с его природными качествами сказывалось то, что он сам называл «дрессировкой».

«Надо себя дрессировать», — писал он перед своим героическим путешествием на Сахалин.

«Дрессировать», воспитывать себя, предъявлять к себе почти непосильные моральные требования и строго следить за тем, чтобы они были выполнены, — здесь основное содержание его жизни, и эту роль он любил больше всего, — роль собственного своего воспитателя. Только этим путем он и добывал нравственную свою красоту, — путем упорного труда над собою. До нас случайно дошло его собственное признание в том, что одну из лучших черт своей личности он воспитал в себе сам. Когда его жена написала ему, что у него уступчивый, мягкий характер, он ответил ей (в письме 1903 года):

«Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив и проч., и проч., но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я выделял черт знает что».

Тем-то и поучительна биография Чехова, что этот сильный, волевой человек, смолodu выделявший «черт знает что», мог подавить свою вспыльчивость, выбросить из души все мелочное и пошлое и выработать в себе такую деликатность и мягкость, какими не обладал ни один из писателей его поколения.

И его легендарная скромность его постоянное стремление к безвестности, к освобождению от славы — есть тоже не только инстинкт, но и результат «дрессировки».

«Я человек честолубивый по самые уши», — признавался он в одном интимном письме. «Я только прикидывался равнодушным человеком, но волновался ужасно», — писал он после петербургской постановки «Иванова». Уже из того, как воспринял он в 1896 году знаменитый провал своей «Чайки», видно, как много значил для него литературный успех. «К успеху своих произведений он был очень чувствителен», — свидетельствует в чеховском некрологе Суворин. «Чехов очень самолюбив, — записал Суворин у себя в дневнике, — и когда я высказывал ему свои впечатления о причинах провала «Чайки», он выслушивал их нетерпеливо. Пережить этот успех без глубокого волнения он не мог».

Так что, когда Чехов гнал от себя свою славу, он гнал то, что манило его всегда. Да и было бы противозаконно, если бы человек такого жизнелюбия, такой феноменальной общительности оставался равнодушен к приманкам и очарованиям славы. Вспомним, что в его ранних письмах еще попадаются строки, где он не по-чеховски хвалится своими успехами, а порою даже, — опять-таки не по-чеховски, хлопочет об упрочении своей литературной известности.

Вспомним, как страстно накинулся он в конце своей жизни на злополучного Николая Эфроса только за то, что этот давнишний его почитатель, друг его семьи, энтузиаст и летописец МХАТа, пересказывая в газете содержание «Вишневого сада», допустил в своем пересказе мелкие (и вполне простительные) отклонения от текста.

Та узда, в которой держал себя Чехов всю жизнь, в ту пору из-за его болезни ослабла, и благодаря этому, нам стало еще более ясно, как суров был во все прочее время его неусыпный контроль над собой.

Два писателя, имевшие возможность наблюдать его ближе и дольше других, Леонтьев-Щеглов и Потапенко, оба отметили в своих ме-

муарах, что к Чехову не с неба свалилось его благородство:

«В тот первый период жизнерадостной юности и неутомимых успехов, — пишет Леонтьев-Щеглов, — Чехов обнаруживал по временам досадные черты какой-то студенческой легкомысленной заносчивости и даже, пожалуй, грубости. Но уже в третий его приезд в Петербург этих резких диссонансов как не бывало».

По словам Потапенко, во многих воспоминаниях Чехов изображается «существом, как бы лишенным плоти и крови, стоящим вне жизни праведником, отрешившимся от всех слабостей человеческих — без страстей, без заблуждений, без ошибок. Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником», а его привлекательные душевные качества явились, по наблюдению Потапенко, «результатом мучительной внутренней борьбы, трудной доставшимися ему трофеями».

Воспитывал он себя всю свою жизнь, но особенно круто — в восьмидесятых годах. И знаменательно, что именно в этот период в его переписке начинают все чаще встречаться слова: «невоспитанность», «воспитание», «воспитанные люди», «воспитывать». Видно, что эта тема горячо занимает его. Он пишет еще в 1883 году:

«У наших господ актеров все есть, но не хватает только одного: воспитанности».

И позже:

«Публика дурно воспитана...»

«Человек... воспитанный и любящий не позволит себе» и т. д.

«Недостаток же у тебя только один... Это твоя крайняя невоспитанность».

И т. д., и т. д. В устах Чехова эти слова имели в то время особый смысл. Воспитанным называл он того, кто, подобно ему, долгими усилиями воли сам вырабатывал в себе благородство. В этом самовоспитании, самоусовершенствовании, в этой победе

человека над своими инстинктами, он видел отнюдь не самоцельную психогимнастику, а долг каждого человека перед всеми другими людьми, так как общее благо, по его убеждению, в значительной мере зависит от личного благородства людей.

Выйдя из рабьей среды и возненавидев ее такой испепеляющей ненавистью, которая впоследствии наполнила все его книги, он еще подростком пришел к убеждению, что лишь тот может победоносно бороться с обывательским загниванием человеческих душ, кто сам очистит себя от этого гноя. И так как два основных порока всякой обывательской души показались ему особенно мерзки: надругательство над слабыми и самоуничтожение перед сильными, — именно их он и решил истребить в себе начисто. Первый из них (в его бесчисленных формах: грубость, заносчивость, чванство, надменность, высокомерие, зазнайство, самохвальство, спесивость) — он словно выжег в себе каленым железом, со вторым же справиться было гораздо труднее. Потребовались героические усилия воли, чтобы рожденный в приниженном, скопидомном быту, где кланялись каждой кокарде и пресмыкались перед каждым кошельком, мог выработать в себе такую великолепную гордость. Об этом повествует он сам в знаменитом письме к Суворину:

«Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек (то есть сам Чехов. — К. Ч.), сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из

себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».

Признание поразительное, и немудрено, что все пишущие о Чехове так часто цитируют эти слова, смакуют их и любуются ими.

Но мало кто отмечает при этом, что в этих словах говорится о чуде. Ведь казалось бы, если тебе с детства привито рабье низкопоклонство перед каждым, кто хоть немного сильнее тебя, если ты, как и все «двуногое живье» той эпохи воспитывался в лакействе, если тебя еще в родительском доме учили пресмыкаться пред богатством и властью, льстить им, подкаивать им, то как бы ты ни старался подавить в себе эту холодную привычку, она, хочешь не хочешь, будет сказываться до конца твоих дней даже в твоих жестах, улыбках, интонациях голоса. И то, что Чехов добился победы и здесь, свидетельствует об одном его редком качестве, о котором было сказано ниже, на дальнейших страницах. А покуда отметим и несколько раз подчеркнем, что Чехову блестяще удалось — как не удавалось почти никому, — это полное освобождение своей психики от всяких следов раболепства, подхалимства, угодничества, самоуничтожения и лживости. Принято обычно считать, что чувство собственного достоинства есть чувство природное, и приобрести его путем воспитания нельзя. А Чехов приобрел его именно этим путем. Хотя и заглушенное влияниями мещанской среды, оно было присуще Антону Павловичу с самого раннего детства (о чем есть немало свидетельств в письмах и воспоминаниях его старшего брата), но все же нужна была гигантская воля, чтобы свести эти влияния к нулю.

Переберите все его письма, ни в одном не найдете ни единой строки, где бы хоть на йоту унился он пред другими людьми или ради каких бы то ни было выгод сказал хоть одно подобост

растное слово. Уже в одном из самых ранних полудетских своих писем он учит брата Михаила самоуважению:

«Не нравится мне одно: зачем ты величаешь особу свою «ничтожным и незаметным братишкой». Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам надо быть одинаковыми. Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожность».

И через несколько лет с таким же требованием самоуважения и высокой человеческой гордости обратился он к своему старшему брату, который, сойдясь с женщиной без благословения церкви, всячески заискивал перед богомольным отцом, чтобы тот взглянул на его незаконную связь благосклонно.

Чехов почувствовал рабье самоуничтожение и здесь.

«Извини, братец, — писал он в 1883 году. — Ты не идешь против рожна, а как будто бы заискиваешь у этого рожна... Какое дело тебе до того, как глядит на твое сожительство тот или другой раскольник? Чего ты лезешь к нему, чего ищешь? Пусть себе смотрит, как хочет... Ты знаешь, что ты прав, ну и стой на своем... В (незаискивающем) протесте-то и вся соль жизни, друг... А я бы на твоём месте, будь я семейный, никому бы не позволил и т. д.»

Уже к середине восьмидесятых годов Чехов, пожалуй, выдавил из себя последние «капли раба», и его уважение к себе стало заметнейшей чертой его личности.

Характерно, что хотя со многими, особенно смолоду, держался он как будто нараспашку, хотя и называл свои пьесы пьесенками, а свои рассказы — пустяками, никто не дерзал фамильярничать с ним, хлопать его по плечу. Исключение, пожалуй, составлял его брат Але-

ксандр, да и тот под своими разухабисто-дерзкими шутками тайл глубокую почтительность к нему. Видно было, что Чехов в совершенстве усвоил науку быть уступчивым, не будучи смиренным, и быть снисходительным, не будучи кротким. При всей своей деликатности он никогда не боялся обидеть другого, если тот хоть в микроскопической степени задёвал его чувство уважения к себе.

В 1888 году один бездарный, но довольно влиятельный критик, много писавший о нем, пригласил его заочно к себе в гости, уверенный, что юный беллетрист будет рад завязать с ним знакомство и тем обеспечить себе максимальное благожелательство его будущих критических отзывов в самой авторитетной московской газете. Но Чехов, охотно посещавший всех и каждого, наотрез отказался приехать к нему. Тот обиделся. Чехов тогда же написал одному из их общих знакомых, что эта обида кажется ему вздорной претензией:

«Быть у него я не мог, — писал он, — потому что незнаком с ним. Во-вторых, я не бываю у тех людей, к которым я равнодушен, как не обедаю на юбилеях тех писателей, которых я не читал. В-третьих, для меня еще не наступило время, чтобы идти в Мекку на поклонение...»

Чувство, продиктовавшее это письмо, вряд ли кто-нибудь решится назвать кротостью. Это чувство боевое, воинственное. Оно всегда возникало у Чехова, когда ему приходилось становиться на страже своей писательской чести. Чехов предпочитал быть неучтивым и резким, лишь бы не проявить в какой бы то ни было мере заискивание перед теми, кто считается силой и властью.

Здесь он не разрешал себе никаких компромиссов. И от всей души презирал тех писателей, которые не умели воспитать в себе такую же гордость. Когда беллетрист Ясинский стал как ни в чем не бывало сотрудничать в той самой газете, где его только что

выругал Виктор Буренин, Чехов написал о Ясинском:

«Своим появлением в «Новом времени» он плюнул себе в лицо. Ни одна кошка во всем мире не издевалась так над мышью, как Буренин издевался над Ясинским и... что же? Всякому безобразию есть свое приличие, а посему на месте Ясинского я не показывал бы носа не только в «Новое время», но даже на Малую Итальянскую» (где помещалась редакция этой газеты).

Или вспомним его многолетние отношения с Сувориным. Суворин в ту пору был и сила и власть: издатель самой распространенной в России газеты, человек с огромными связями и притом колоссально богатый. По причинам, о которых будет сказано ниже, Чехов сошелся с ним, как с самым близким товарищем. Конечно, и враги, и псевдодрузья, и завистники стали упорно твердить, что он извлекает из дружбы с Сувориным множество всяких — главным образом денежных — выгод, ибо в ту пору уже никто не дружил с Сувориным бескорыстно.

Людям, не знавшим Чехова, эта клевета казалась похожей на правду, так как Суворин любил меценатствовать. У Суворина всегда был открыт кошелек для писателей, являвшихся с ним. Уйму денег перебрали у него Маслов, Скальковский, Ясинский, Гиппиус, князь Барятинский, Мережковский, Потапенко... Одному Амфиотрову он в короткое время дал не меньше восемнадцати тысяч. И потому казалось вероятным, что его любимейший сотрудник, самый близкий к нему человек тоже пользуется его тороватостью.

Никто не знал тогда и никто не поверил бы, что все невыгоды этой пагубной дружбы Чехов взвалил на себя, а все выгоды предоставил Суворину. Еще в самом начале их близости Суворин, видя, как Чехов нуждается в деньгах, предложил ему щедрый аванс, но Чехов, чтобы раз навсегда пресечь подобные поползновения Суворина,

написал ему такие шепетильные строки:

«Скажу Вам откровенно и между нами: когда я начинал работать в «Новом времени», то почувствовал себя в Калифорнии... и дал себе слово писать возможно чаще, чтобы получать больше — в этом нет ничего дурного; но когда я поближе познакомился с Вами и когда Вы стали для меня своим человеком, мнительность моя стала на дыбы, и работа в газете, сопряженная с получкой гонорара, потеряла для меня свою настоящую цену... я стал бояться, чтобы наши отношения не были омрачены чьей-нибудь мыслью, что Вы нужны мне как издатель, а не как человек...»

Казалось бы, ситуация довольно обычная: гордый бедняк, оберегая духовную свою независимость, не желает пользоваться благодеяниями богатого друга. Но не прошло и трех лет, как эти денежные отношения гордого бедняка к богачу приняли парадоксальный, почти невероятный характер. Оказалось, что не Чехов пользуется щедротами своего богатого друга, как об этом упорно твердили в тогдашних газетно-журнальных кругах, а напротив, богатый друг все больше и больше денег извлекает из дружбы с Чеховым.

Около двенадцати лет Суворин был почти монопольным издателем чеховских книг. Едва ли он стремился в данном случае к какой-нибудь чрезмерной наживе, но самый аппарат его издательской фирмы был поставлен так хищнически, что за все те годы, когда она печатала «Каштанку», «Хмурых людей», «Мужиков», «Детвора» и т. д., Чехов по самым умеренным выкладкам получил вдвое меньше того, что мог бы получить у другого издателя, — особенно если принять во внимание, что Суворин, по своей тогдашней расхлябанности, издавал книги спустя рукава и с такими большими антрактами, которые были сущим разорением для автора.

В конце концов это стало ясно

и Чехову, но он предпочел оставаться меценатом Суворина, лишь бы Суворин не сделался его меценатом. Эта дружба, кроме огромных моральных убытков (так как газета Суворина в то время стала откровенно реакционной газетой), принесла ему тяжкий материальный ущерб. Зато, когда она распалась, он мог с удовлетворением сказать, что в той атмосфере рабского подхалимства, карьеризма и местничества, которая тогда окружала Суворина, ему, единственному, удалось сохранить до конца свое человеческое достоинство.

Такая же свобода от рабских инстинктов — во всех его поступках, всегда.

Была у него незнакомая родня на Урале, — и когда, проездом через Оренбург, он захотел познакомиться с нею, обнаружилось, что все это — самодовольные и чванлые люди. Тогда он написал своей жене:

«Прасковью Параменовну, Настасью Тихоновну, Собакия Семеныча и Мотвея Сортирыча видеть не буду».

И наотрез отказался от всякого с ними знакомства.

«Чехов был человек гордый», — вспоминает о нем театральный критик А. Кугель, с которым, по его же словам, автор «Чайки» не желал разговаривать, так как Кугель считался «грозою театров» и перед ним трепетали актеры и авторы пьес.

Такой же гордости требовал Чехов от всех.

«Зачем, зачем Морозов Савва пускает к себе аристократов? — возмущался он в одном позднем письме. — Ведь они наедятся, а потом хохочут над ним, как над якутом. Я бы этих скотов палкой гнал».

К смирению и кротости он был совершенно не склонен. В том-то и заключалось редкое своеобразие его гармонического духовного облика, что, воспитав в себе беспредельную снисходительность к людям, он никогда не доводил ее до подобострастия, самоуничижения

и кроткой уступчивости. Ибо чувство человеческого достоинства, добытое им с таким трудом, всегда было регулятором его поведения.

VII

И было бы, конечно, очень странно, если бы, воспитывая себя, этот человек не пытался перевоспитать и других. Воспитывать всех окружающих было его излюбленным делом, причем он с удивительным простосердечием верил в педагогическую силу наставлений и проповедей, или, как он выражался, — «нотаций».

Даже флиртуя с красавицей Ликой, он среди всяких уморительных шуток и вздоров пишет ей такую нотацию:

«У вас совсем нет потребности к правильному труду. Потому-то Вы больны, киснете и ревете и потому-то все вы, девицы, способны только на то, чтобы давать грошевые уроки... В другой раз не злите меня Вашей ленкой и, пожалуйста, не вздумайте оправдываться. Где речь идет о срочной работе или о данном слове, там я не принимаю никаких оправданий. Не принимаю и не понимаю их».

Даже своей жене, только что повенчавшись с нею, он пишет в любовном письме:

«Нельзя, нельзя так, дуся. Несправедливости надо бояться. Надо быть чистой в смысле справедливости, совершенно чистой».

Эти «нельзя» и «надо» он ставил пред всеми близкими в качестве непререкаемых заповедей, потому что такие же заповеди ставил всегда пред собой. Даже Щеглову-Леонтьеву пытался он — уже в самом конце своей жизни — внушить элементарные чувства самоуважения и гордости:

«Вас волнуют гг. Буренин и К°, но зачем, зачем Вы около них, то есть зачем ставите себя в зависимое от них положение? Отчего не уходите, если презираете? Не обижайте себя, милый Жан, не обижайте Вашего дарования... будьте свободны, вырвитесь на волю...»

Это началось еще тогда, когда он был Антоша Чехонте. Трудно представить себе, что в то самое время, когда он именовал себя в письмах легкомысленнейшим из всех беллетристов, стремящимся «учинить какое-нибудь тру-ла-ла», когда он устраивал у себя на дому «вакханалии» и вся его квартира, по выражению Щеглова, «так и сотрясалась от хохота», он вел тяжелую подспудную работу над перевоспитанием семьи.

«В нашей семье,— вспоминает его брат Михаил,— появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие отрывочные замечания: «это неправда», «нужно быть справедливым», «не надо лгать» и т. д.

Так как с двадцатилетнего возраста он сделался кормильцем и главой всей своей обширной семьи,— воспитанников у него оказалось немало: четыре брата, да сестра, да отец. Сестра поддалась его воспитанию сразу. Отец, мелкий деспот, законченный в тиранстве, был тверд как камень, но Чехов в конце концов перевоспитал и его. С братьями было труднее. Братья — беллетрист Александр и карикатурист Николай — оказались дряблыми натурами, и напрасно Чехов обрушивал на них всю могучую свою педагогику, они трусливо убегали от нее, и оба погибли зря, растратив свои дарования впустую. Их духовное банкротство служит наглядным свидетельством, какова была бы судьба их великого брата, если бы у него не было той дисциплины, которой он подчинил свою жизнь.

Характерно, что «нотации» почти всегда чередовались у него с безоглядными шутками, так что ничего постного, унылого, вегетарианского, ханжеского не было в этом упорном наставничестве. Его письма к брату Александру, если в них не говорится о делах, в огромном своем большинстве слагаются из двух элементов, казалось бы, невозможных ни в какой педагогике: из самых забубенных острот и самых суровых моральных сентенций. Сюжетов для этих

сентенций у Чехова было множество, и порою весьма неожиданный. Узнав, например, что Александр увлекается южными яствами, Чехов настойчиво убеждает его:

«Не ешь, брат, этой дряни! Ведь это нечисть, нечистоплотство... По крайней мере Мосевну (дочь Александра) не корми, чем попало... Воспитавай в ней хоть желудочную эстетику. Кстати об эстетике. И вина, голубчик, но будь родителем не на словах только. Вразумляй примером... На ребенка прежде всего действует внешность, а вами чертовски унижена бедная внешняя форма... Кстати о другого рода опрятности. Не бранись вслух. Ты и Катю (кухарку.— К. Ч.) извратишь и барабанную перепонку у Мосевны запачкаешь своими словесами». И т. д., и т. д., и т. д.

Трудно поверить, что это старшему брату читает нотацию младший. И когда старшему шел уже четвертый десяток, младший все еще делал попытки перевоспитать и облагородить его.

«В первое же мое посещение, писал он Александру в 1889 году,— меня оторвало от тебя твое ужасное, ни с чем не сообразное обращение с Натальей Александровной и кухаркой. Прости меня великодушно, но так обращаться с женщинами, каковы бы они ни были, не достойно порядочного и любящего человека.»

«Я прошу тебя вспомнить,— продолжает он в том же письме,— что деспотизм и ложь (отца.— К. Ч.) сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспомнить. Вспомни те ужасы и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать душой... Деспотизм преступен трижды»¹.

Возможно, что эта неустанная проповедь все же хоть в малой ме-

¹ Таким образом не может быть сомнения в автобиографичности такого рассказа как «Тяжелые люди».

ре обуздывала беспутного «Сапечку», но Николай совершенно отбился от рук.

«Балалаечней нашего Николая трудно найти кого другого,— печалился Чехов.— И что ужаснее всего — он неисправим... Николай... шалаберничает; гибнет хороший, дильный русский талант, гибнет ни за грош».

Чехов пытается спасти и его и пишет ему письмо за письмом, и среди этих писем есть одно, наиболее подробное, где Антон Павлович дает в развернутой форме весь кодекс своей антимещанской морали. Хотя это письмо приводилось не раз, мы не можем не воспроизвести его здесь в наиболее существенных выдержках, так как здесь четко вскрывается та дисциплина, которую применял он к себе самому.

Как и всякий педагог по призванию, жаждущий облагородить себя и других, Чехов оптимистически верил в чудотворную власть педагогики. Его брат Михаил вспоминает, что в споре с В. А. Вагнером, известным зоологом, послужившим прототипом фон Корена, Чехов горячо утверждал, что воспитание сильнее наследственности, что воспитанием мы можем победить даже дегенеративные качества человеческого психики, которыми, как думали в те времена, словно судьбой, предопределяются наши поступки.

Потому-то в 1886 году он и обратился к гибнущему Николаю с этим суровым письмом, которое и теперь может служить как бы курсом практической этики для многих шатких и жалких людей:

«...Недостаток же у тебя только один,— говорится в письме.— Это — твоя крайняя невоспитанность... Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям:

1. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы... Они не бунтуют из-за мошкетера или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают

из этого одолжения, а уходя не говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилище посторонних...

2. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом... Они ночей не спят, чтобы помочь Полеваевым, платить за братьев-студентов, одевать мать.

3. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.

4. Они чистосердечны и бояться лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии... Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают... Из уважения к чужим ушам, они чаще молчат.

5. Они не унижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают!» или «Я разменялся на мелкую монету!»... потому что все это бьет на дешевый эффект, пошло, старо, фальшиво...

6. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство с знаменитостями, рукопожатие пьяного Плеваки, восторг встречного в Salon'e, известность по портерным... Они смеются над фразой: «Я представитель печати!», которая к лицу только Родзевичам и Левенбергам. Делая на грош, они не носятся со своей папкой на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили... Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставок... Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную...

7. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой... Они горды своим

талантом. Так, они не пьянствуют с надзирателями мещанского училища и гостями Скворцова, сознавая, что они призваны не жить с ними, а воспитывающе влиять на них. К тому же они брезгливы.

8. Они воспитывают в себе эстетичность. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Они стараются возможно укоротить и облагородить половой инстинкт... Им нужны от женщины не постель, не лошадиный пот... не ум, выражающийся в уменье... лгать без устали. Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не..., а матерью... Они не трескают походя водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они, только когда свободны, при случае. Ибо им нужна *mens sana in corpore sano*.

И т. д.... Таковы воспитанные... Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть только Пиквика и вы зубрить монолог из Фауста. Недостаточно сесте на извозчика и поехать на Якиманку, чтобы через неделю удрать оттуда.

Тут нужны непрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог каждый час...

Поездка на Якиманку и обратно не помогут. Надо смело плюнуть и резко рвануть... Иди к нам, разбей графин с водкой и ложись читать... хотя бы Тургенева, которого ты не читал...

...самолюбие надо бросить, ибо ты не маленький... 30 лет скоро! Пора!

Жду... Все мы ждем...

В этом письме освещен, как прожектором, тот изумительный педагогический метод, при помощи которого Чехов воспитывал себя самого. И если чудом представляется нам этот юношеский кодекс морали, в тысячу раз чудеснее то обстоятельство, что Чехову удалось подчинить этому кодексу всю свою

жизнь, что каждое правило, которое изложено им в этом письме, не осталось на бумаге, как часто бывает со всеми подобными правилами, но было выполнено им до конца. Предъявить к себе труднейшие, почти невыполнимые правила может, конечно, каждый, но неукоснительно выполнять их в течение всей своей жизни может лишь тот, у кого самый твердый характер, самая могучая воля.

Наконец-то я могу произнести эти слова: могучая воля. С каким удовольствием вписываю я их сюда, в эту книжку. Все, что было сказано до сих пор, говорилось с единственной целью заявить, наконец, эту еретическую правду о Чехове и продемонстрировать ее с такой наглядностью, чтобы даже несмышленные поняли, что основой основ его личности была могучая, гениально упорная воля. Эта воля сказывалась буквально в каждом факте его биографии и раньше всего, как мы видели, в том, что, создав себе с юности высокий идеал благородства, он властно подчинил ему свое поведение. В России было много писателей, жаждавших построить свою жизнь согласно велениям совести — и Гоголь, и Лев Толстой, и Некрасов, и Николай Лесков, и Глеб Успенский, и Гаршин, и мы восхищаемся их чисто народным тяготением к «правильной», праведной жизни, но даже им этот нравственный подвиг был иногда не под силу, даже они порою изнемогали и падали. А с Чеховым этого, кажется, никогда не бывало: стоило ему предъявить к себе то или иное жестокое требование, которое диктовала ему его совесть, и он выполнял его любой ценою.

«Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений», — сказал он сам о себе. И мы только что видели это своими глазами: едва в конце восьмидесятых годов он пришел к убеждению, что его художественная деятельность не нужна для России, он круто оборвал ее в то самое время, когда она несла ему

славу и прочие житейские блага, в которых он так сильно нуждался.

«Я еду — это решено. бесповоротно!» — писал он Плещееву накануне сахалинской поездки, ибо все его решения всегда носили бесповоротный характер. «Решить для него значило сделать», — свидетельствует о нем Игнатий Потапенко. Необходима была железная воля, чтобы, испытывая невыносимые муки от езды по бездорожью Сибири, не повернуть откуда-нибудь из Томска домой, а проехать до конца все одиннадцать тысяч верст.

Но ярче всего эта могучая воля сказывается в писательстве Чехова. Великолепная самостоятельность всех его вкусов и мнений, его дерзкое презрение к тогдашним интеллигентским — уже окостеневшим — идеалам и лозунгам, которое так отпугнуло от него кружковую либеральную критику, деспотически требовавшую, чтобы он подчинял свое вольное творчество ее сектантским канонам, — какой нужен был для этого сильный характер.

Какая в самом деле нужна была сила духа, чтобы среди нетерпимых, узколобых людей, воображающих себя либералами, развернуть свое знамя, на котором написано крупными буквами:

«Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода — свобода от силы и лжи... Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским... Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи».

Как бы мы ни оценивали этот вызов эпохе, этот бунт против ее святых и канонов, — а жизнь очень скоро показала, что вся эта свобода была мнимой, иллюзор-

ной, — мы должны признать, что в ту пору нужна была неслыханная смелость для такого отстаивания своей свободы. Чтобы в рабьем обществе завоевать себе такое заветное право ни перед кем никогда «не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи», нужна была раньше всего необыкновенно упорная воля. И разве не такая же воля ощущается в нем как в писателе, как в новаторе литературного стиля! Замечательно, что нигде, ни в беседах, ни в письмах, он ни разу не назвал себя новатором. Между тем и в драме и в беллетристике он произвел революцию и бился за созданную им новую форму несколько не меньше, чем, например, Золя за свою. В драме, например, ему было бы очень нетрудно угодить общепринятым вкусам: он виртуозно владел внешней динамикой быстрого действия и вообще всеми ходовыми театральными формами, но он властно отверг эти формы и, не сделав ни малейшей уступки, завоевал себе право на собственный стиль.

Даже в самом лаконизме его творчества, в этих стальных конструкциях, которые делают короткий рассказ динамичнее любого романа, в его власти над словом, в том, как смело и победоносно распоряжается он своим материалом, чувствуется напряженная мускулатура гиганта.

Всюду, везде, до конца — нестигаемая могучая воля.

И если бы мы ничего не знали о Чехове, а только проследили бы по его переписке, как он в предсмертные месяцы, наперекор своей страшной болезни, снова и снова садится за стол и между припадками тошноты, кровохарканья, кашля, поноса, пишет холодеющей — белой, как из гипса, — рукой свою последнюю пьесу — по две строчки в день, да и то с перерывами, так что рукопись по целым неделям лежит у него на столе, а он глядит на нее издали, — томится и мается — и не может вписать в нее ни единого слова, — и все же заканчивает работу в на-

значенный срок, — все же побеждает свои немощи творчеством, — если бы мы видели Чехова только в эти предсмертные месяцы, мы и тогда убедились бы, что это — героически волевой человек. Писание «Вишневого сада» в тех условиях, в каких происходило оно, представляло для него такие же непреодолимые трудности, как и поездка на каторжный остров, — но и там и здесь он не отступил перед ними. «Слабость и вялость душевных движений» были чужды ему даже у края могилы.

VIII

Но почему я так много толкую об этом? Разве это не очевидно для каждого?

В том-то и чудо, что нет. Если бы я вздумал цитировать те статьи и брошюры о Чехове, где его изображали «слабовольным», «пассивным», «бесхарактерным», «недеятельным», «анемичным», «инертным», «вялым», «бессильным», «дряблым», — мне понадобились бы сотни и сотни страниц. Вся критика восьмидесятых, девяностых, девятидесятых годов только и долбила об этом.

Даже люди, лично его знавшие, как, например, П. М. Ежов (которого, впрочем, сам Чехов считал глуповатым), то и дело писали о нем:

«Как человек бесхарактерный... Он как всякий слабый человек...»

Даже к полному собранию его сочинений, выпущенному в 1929 году, была приложена большая статья, где вся характеристика Чехова сводится именно к этому. Статья эта долго служила введением ко всему творчеству Чехова, и в ней было черным по белому сказано, что Чехов и в жизни и в творчестве был человеком «б е з в о л ь н ы м» (!), «пассивно-сенситивным» (?), «впечатлительной и слабой (!?) натурой» (!!!).

Даже такой осторожный ученый, как профессор Пиксанов, в своем предисловии к переписке

Короленко и Чехова пишет уже в нашу эпоху как о факте, не требующем никаких доказательств, что Чехов был «болезненно вял», что он «избегал (?) вмешиваться (!) во внешнюю жизнь» и что в этом отношении он будто бы антипод Короленко. Если слово «болезненно вял» необходимо понять в том смысле, что Чехов во время болезни становился физически слаб, то ведь это бывает со всеми больными, хотя Чехов, как мы только что видели, упорным напряжением воли преодолевал даже свой страшный недуг, а если слово «болезненно-вялый» приклеивается в данном случае к Чехову как некий постоянный эпитет, я советую отклеить его возможно скорее, так как он находится в кричащем противоречии со всеми фактами биографии Чехова.

Об эпохе Чехова принято говорить, будто это эпоха сплошного безволия, хилости, окоченения, косности интеллигентских кругов. Это справедливо, но только отчасти: в России никогда не могло быть сплошного безволия: не забудем, что именно восьмидесятые годы дали русскому обществу таких несокрушимых людей, как Миклухо-Маклай, Пржевальский, Александр Ульянов и — Чехов.

Я так много распространяюсь об этом, ибо из дальнейшего нам предстоит убедиться, что человеческая воля как величайшая сила, могущая сказочно преобразить нашу жизнь и навсегда уничтожить ее «свинцовые мерзости», есть центральная тема всего творчества Чехова и что сказавшаяся в его книгах необычайная зоркость ко всяким ущербам, надломам и вывихам воли объясняется именно тем, что сам он был беспримерно волевой человек, подчинивший своей нестигаемой воле все свои желания и поступки. Я исходил из уверенности, что внутренний смысл настойчивой чеховской темы о роковых столкновениях волевых людей и безвольных гораздо отчетливее уяснится для нас, если мы твердо усвоим, что этой

же темой была насыщена и его биография.

В последующих этюдах, посвященных писателю, когда мы будем говорить об эпохе, которая его создала, мы увидим, что эта чеховская тема о борьбе человеческой воли с безволием есть основная тема той эпохи. Поэтому-то Чехов и сделался наиболее выразительным писателем своего поколения, что его личная тема оказалась адекватна общественной.

И так как с этой темой неразрывно связана другая тема восьмидесятых годов: о праве человеческой личности на равнодушие к уродствам и жестокостям жизни, — я, прежде чем говорить о творчестве Чехова, счел необходимым показать, что в нем самом, в его жизненной практике, во всех его

отношениях к людям не только не было ни тени равнодушия, но, напротив, его деятельное вмешательство в жизнь было так интенсивно, что рядом с ним иные из тогдашних писателей кажутся какими-то Обломовыми.

Вот почему для советских людей, для людей нашей творческой, могучей эпохи, Чехов такой близкий, родной человек: великий жизнелюбец, — неутомимый строитель, — человек нестигаемой воли, — щедрый озеленитель земли, — скромный в своем величии, — застенчивый в своем героизме, он всей своей обаятельной личностью стоит перед нами как ранний предтеча того многомиллионного племени советских людей, которые, перестраивая свою планету для грядущего счастья, немедленно должны перестроить себя.